

НИКОЛАЙ
ФОМИЧЕВ

НОН

НУРС



СОВРЕМЕННИК

Николай Фомичев
Конкурс

Повести

«Современник»
Москва
1982

Фомичев Н. А.
Ф76 **Конкурс: Повести.— М.: Современник, 1982.—**
205 с.— (Новинки «Современника»).

Повести Николая Фомичева объединены идейно-художественной проблематикой.

Автор пишет о научно-технической интеллигенции. Герои его повестей — руководители институтов, лабораторий и секторов, ученые, инженеры, лаборанты... Это и Надеждин, сумевший увлечь в творческий поиск сотрудником лаборатории («Конкурс»), и Вересов, начальник цеха, на повести «Шаги в лето», и ленивый агрохимик Леня Маркин («Человек из НИИ»), и другие. Н. Фомичев рассматривает и социально чутко описывает их, что является характерной чертой творчества писателя.

Ф 4702010200—076 66—82
М106(03)—82

ББК84Р7
Р2

Шаги в лето

...Кури, кури. Хочешь, я тебе кофе приготовлю?.. Ну, после так после. Тогда слушай... Мне столько нужно рассказать тебе!.. Ведь мы не виделись... да, почти пять лет. Пять лет уже, как я живу на Урале... Ты понимаешь, Виктор, меня так переполняет желание сказать, поделиться с тобой, что я даже не знаю, с чего начать...

Ты, верно, удивился, когда я написал тебе, что перешел в науку? В письме ведь всего не напишешь, да и не люблю я писать. Другое дело — разговор... Так вот, все началось с того, что здесь я встретил Романа Лаврентьева... Попал он сюда так: по окончании аспирантуры направили его в здешний институт строительных материалов. Да, в тот самый НИИ, куда он после и переманил меня. Был он уже кандидатом наук... Нет, он не знал, что я обитаю в этих краях. А встретились совершенно случайно, года полтора назад. Ты знаешь, я работал на бетонном. Как сейчас помню, осень была, грязища на заводском дворе — ее наволокли МАЗы-бетоновозы. Осень — горячая пора на стройке, а значит, и у нас. Готовили к сдаче новый прокатный, и бетон шел туда и день и ночь. Так что и мне приходилось вкалывать стемна до темна. А тут еще с этими нарядами меня прижало: конец месяца, вовремя не сдашь — главный инженер голову снимет... Ну вот, сижу, трещу арифмометром, а за окном конторки МАЗы рычат, грохочет по лестнице шоферня сапогами, за переборкой базарят «толкачи» и слышно, как хрипит в микрофон диспетчер:

— Сорок шесть — сорок пять, третий бункер! Марка двести, на «семечке». Два куба! Как поняли?..

Да что я тебе рассказываю? Ты сам на бетонном бывал... Короче, от этой суеты и шума голова у меня как чугунная. Сижу и злюсь.

Вдруг слышу: в запертую дверь конторки кто-то как саданет плечом, аж к порогу кусок штукатурки свалился. А-а, думаю, гори все синим огнем, с места не двинусь, пока не разделаюсь с этой бухгалтерней.

За дверью кричат:

— Ляксандрыч! Ты тут?

Ну, так и есть: Костя-вагранщик. Кто же еще меня «Ляксандрычем» величает...

Ругнулся сквозь зубы, ору:

— Ну! Чего тебе?!

— Вагранка стала!

А у меня, кроме бетошного, ваграночка еще была небольшая, шлаковату мы в ней раздували...

Подскакиваю к двери, откидываю крючок — в дверях сутулая фигура Кости в измазанном комбинезоне. Рот разинул, глаза — как полтинники...

— Что там стряслось?— спрашиваю.

— Затоварились, Ляксандрыч,— говорит.— Склад битком набит шлаковатой...

— Мастер где?— спрашиваю.

— А кто его знает...

— Помощнички! — Я кинулся вниз по лестнице. Костя за мной.

Перебежали двор, запруженный самосвалами, поднырнули под брюхом транспортерной галереи, выскочили на ветку: мокрые рельсы блестят, как серебряные. Прыгаю по скользким шпалам, а Костя мне и говорит:

— Там кто-то начальника спрашивает. В очках и с портфелем. Опыт, что ли, какой делать хотят на вагранке...

Ну, думаю, нашли время... Смотрю: из трубы ваграночки моей рыжеватый дымок закурился. Значит, мастер на месте... Подбегаю ближе, так и есть: стоит себе спокойненько, покуривает. А рядом с ним какой-то тип в очках и с портфелем. Тут из трубы взметнулся черный дым и повалил.

Костя аж засиял от радости:

— Пашла-а!— И впритруску подался к калитке цеха.

Подхожу, и кого же вижу? Ромку Лаврентьева!..

Ты ведь знаешь, мы никогда особенно дружеских чувств один к другому не питали. Здоровались, иногда я к нему забегал трешку-пятерку перехватить до стипендии,— если помнишь, в общаге он жил в соседней комна-

те, с Петькой Строговым. Я знал, что парень он с головой, и что в аспирантуре остался — так тому и быть должно. А в общем-то, что он есть, что его нет — мне было как-то все равно. А тут, едва я только увидел его добродушную рожу, его широченную, от уха до уха, улыбку, всю его приятно раздобревшую фигуру, — веришь, как будто родного человека встретил.

— Рома! — заорал я не своим голосом.

— Леха! Черт! — вскрикнул он интеллигентным бархатным баском, и кинулись мы обниматься.

Мастер, видя такое дело, потихонечку отвалил, сказал, что машину идет встречать, а я на радостях и забыл совсем, что собирался дать ему разгон за простой... Ну, расспросы начались, что, как, откуда... Я в двух словах рассказал о себе, а он о себе... Приехал сюда недавно и жил холостяком. В НИИ ему как спецу сразу же вручили ключ от однокомнатной квартиры... Когда я узнал, что Роман — кандидат наук, веришь, я испытал что-то вроде гордости... Надо тебе сказать, что за три года работы на бетонном я ни с кем как-то близко не сошелся и в свободное время — хоть и было у меня его в обрез — жил бирюком. Книжки да изредка кино — вот и все мои развлечения. И вдруг у меня появляется товарищ, однокашник, и этот мой товарищ — ученый... Я так обрадовался, что даже забыл о своих горящих нарядах.

Стоим, болтаем, Роман и говорит:

— Не будешь возражать, если я проведу на твоей вагранке один эксперимент? — И, щелкнув замком портфеля, выуживает из него бумагу и подает мне жестом посла, вручающего свои верительные грамоты: — Вот разрешение твоего начальства...

А я ему:

— Спрячь-ка ты свои верительные грамоты, Роман. На вагранке можешь делать все, что взбредет в твою ученую голову. Лишь бы только печь не закозлил...

Он на полном серьезе успокоил меня:

— Нет, нет, я даже не буду менять шихту. Только отберу от расплава несколько проб, введу в них кое-какие добавки и обработаю в муфельной печи...

— Ну валяй, — говорю, — твори... Когда начнешь?

— Я хоть сейчас. — И показывает на муфельную печь и какие-то приборы, сложенные возле тамбура.

— Слушай, — говорю, — хочу посмотреть, как ты бу-

дешь химичить с этим шлаком, но у меня срочное дело... может, пообедаешь пока, а?

Короче, отвожу я его в столовую, сдаю наряды главному и бегу на вагранку. Роман уже переоделся в старый, пегого цвета, плащ и не похож на ученого. Поднимаемся на железную площадку печи, и он начинает свой эксперимент.

Ты был когда-нибудь на вагранке?.. Вагранка — это нечто вроде огромного самовара. Внизу горн, и из раскаленной пасти горна, упруго свистя, бьет горизонтальный фонтан распушенного в огненные нити шлака... А впрочем, стоит ли рассказывать, как колдовал и суетился у вагранки Роман... Это было бы и неинтересно, и непонятно. Важно другое... Когда эксперимент закончился и я увидел у него на рукавице странную, похожую на небольшую тарелку штуковину, то в первую минуту не поверил, что эта отливающая нежным, фиолетовым цветом тарелка отлита Романом из самого обыкновенного доменного шлака...

И вот я стою и глазею на нее, а Роман, перекрывая свист вагранки, кричит мне:

— Представляешь, Леонид! Лучшие в мире изоляторы — китайские. Мы покупаем их на валюту, платим золото. И вот тебе — изолятор из шлака! Как диэлектрик шлак может поспорить с лучшими сортами китайского фарфора!..

И вдруг замолчал и стал смотреть на свой «фарфор» из шлака... Эх, старик, если бы ты видел его в ту минуту!.. На лице у него было такое же выражение, как у матери, впервые взявшей на руки свое дитя. Это было лицо... лицо счастливого человека.

И тут я понял: Роман действительно счастлив, счастлив делом и своей наукой. И невольно я подумал о себе и позавидовал Роману и тому, что сам я не только не был счастлив своей работой, но даже не любил ее...

Ты знаешь, что учился я неплохо, институт закончил с отличием, и сюда когда ехал, надеялся стать инженером... А что получилось на деле? Целыми днями мотался в снабженческой круговерти, скандалил с нахрапистой шоферней, лупил кувалдой в железные бункера, помогая девчатам-мотористкам осадить налипший на стенки песок, а зимой торчал в траншее, вместе с рабочими разбивал шуровкой мерзлые глыбы шлака и песка, — да раз-

ве для этого нужны инженерные знания?.. Я что в институте знал, и то стал забывать... Скорей всего, мне просто не повезло. Ведь не везде же так. Вот ты рассказывал, что на вашей стройке вводят АСУ... А в нашем тресте и слухом не слыхивали, что это за диво такое — автоматизированная система управления. Работали по старинке: «давай-давай»... Плюс к тому, наш бетонный был настолько стар, настолько измотан трехсменной работой, что все мои силы уходили на то, чтобы как-то поддержать его в рабочем состоянии. Так что ни о каких инженерных новшествах и мечтать не приходилось. Для этого просто времени не было...

Короче, Роман явился вовремя. Я как раз подумывал о том, чтобы смотаться из этого треста, уехать куда-нибудь и устроиться в солидную фирму. Ну, естественно, в тот же вечер он пригласил меня к себе, и я ему с ходу все это и выложил.

— А почему бы тебе не попробовать себя в науке?..

Представь себе картину: сидим мы с ним в его квартире... Он за письменным столом: умное, высоколобое лицо с мягкими чертами, массивные очки — за толстыми стеклами глаза кажутся микроскопическими, — красивая, легкая проседь в черных, густых волосах и чувство собственного достоинства, которое сквозит во всем: в жестах, в мимике, в манере говорить спокойно, кратко, взвешивая каждое слово... Всякий мало-мальски проницательный человек сказал бы при виде Романа, что это — ученый. За его спиной огромный стеклянный шкаф, набитый книгами, книги на столе, на подоконнике, на журнальном столике. И — в кресле напротив него — я, худой, уставший, с большим от ввалившихся щек носом, издерганный, неуверенный в себе человек... И он задает мне этот вопрос...

Не знаю, как ты, но я... я всегда относился с благоговением к словам «наука», «ученые», только мне в голову не приходило, что я, обыкновенный смертный, могу работать в науке. Мне казалось, что наука — удел людей особо одаренных, таких, как Роман, например, — он ведь всегда шел первым в институте... Позже, когда я поступил в НИИ, я понял, что заблуждался, что научный сотрудник — это еще не ученый, что научным сотрудником — в прикладном институте, во всяком случае, — может стать любой толковый инженер с производства... Но

тогда я просто-напросто принял за шутку слова Романа. И вот я смотрю на него и говорю:

— Ты что, смеешься?..

— А почему бы не подумать тебе об этом?— спрашивает Роман и снова разливает коньяк.

— Да у меня ж и мозги-то задубели на этом бетонном,— говорю.

— Ничего,— отвечает,— отойдут. Стоит только сесть за книги. Наша шлаковая лаборатория,— говорит,— новая, есть у нас вакансии. Мне кажется, тебе стоит рискнуть. Шефу как раз нужен силикатчик. Если ищешь творческую работу, НИИ — самое подходящее место. А проблема шлаков, Леня, очень интересная проблема. Здесь есть над чем поломать голову...

Короче, ему не пришлось меня уговаривать. Ты знаешь, я увлекающийся человек, а перспектива, которую нарисовал мне Роман — возможность участвовать в разработке новых строительных материалов,— по-настоящему увлекла меня, и я буквально на следующий же день отправился к шефу Романа...

Я показывал тебе наш институт, когда мы проезжали мимо, по внешнему виду никак не скажешь, что это обитель науки, верно? Но когда я подходил к этому огромному, казенно-серому зданию, я волновался как школьник, идущий на экзамен. И вот с бьющимся сердцем я поднимаюсь на второй этаж и попадаю в длинный, похожий на прямоугольную трубу коридор. И вижу, расхаживают по коридору сотрудники, молодые, чисто одетые и с таким небрежно-независимым видом. Тут, словно ветер, проносится мимо меня симпатичная дева в белом халате и оставляет за собой тонкий аромат, и помню, как удивил меня этот запах, запах духов в рабочее время...

Нашел я комнату 215, открываю дверь. Четыре пары незнакомых глаз посмотрели в мою сторону — всего лишь на секунду — и вновь с усердием уткнулись в столы, заваленные книгами. Вижу: Роман, облаченный в белый халат, сидит плечом к окну и обнимается с черным микроскопом. Подхожу к нему на цыпочках, согнувшись от смущения, и хрипловатым шепотом здороваюсь:

— Привет, Роман...

— А, здравствуй, Леня,— говорит Роман, встает и, обхватив меня за плечи, ведет к шефу...

Его кабинет как раз напротив, и на высоких дверях,

на простеньком тетрадном листке неровно выведено черным фломастером: «Зав. лабораторией Фессер Л. А.». Роман стучит, за дверью слышится солидное «да-да!», я с волнением вхожу и вижу: слева, за большим столом сидит внушительного вида человек, полный, с крупным породистым лицом, и очки в золоченой оправе.

— Вот, Лев Андренч, товарищ, о котором я вам говорил,— представляет меня Роман.— Вересов Леонид Александрович...

Шеф, приподнявшись, словно нехотя протягивает мне пухлую руку и коротко бросает:

— Фессер!

— Так я вас оставляю,— говорит Роман и, ободряюще улыбнувшись мне, выходит за дверь.

— Садитесь,— шеф кивает на шеренгу мягких стульев у стены, я сажусь, а он достает из мраморной пепельницы трубку и не спеша закуривает.

Минуту-другую он молча посасывает трубку, и в кабинете расплывается медовый запах «Золотого руна». Шеф вроде бы не смотрит на меня, взгляд его рассеянно и равнодушно скользит поверх стола и где-то под ногами у меня и вдруг, переметнувшись на мою физиономию, на мгновение становится острым и пронизательным.

— Сколько вам платят?— спрашивает шеф, и снова равнодушный взгляд его опять скользит поверх стола, где громоздятся кипы книг, журналов и бумаг.

Я говорю:

— Сто шестьдесят.

— Больше ста двадцати я дать вам не могу,— он пожимает полными плечами,— оклад младшего научного сотрудника.

— Дело ведь не в деньгах,— отвечаю.

Но он оставляет без внимания мои слова и задумчиво спрашивает:

— Вы знакомы с мартеновским шлаком?

Честно признаюсь:

— Нет... Я немножко знаю доменный.

— Ну, это неважно,— морщится шеф. Он поднимается и, заложив за широкую, чуть покатую спину руки, низко опустив тяжелую голову, начинает вышагивать по кабинету.— Проблема, над которой вам придется работать, заключается в том, чтобы из мартеновского шлака полу-

чить дешевый цемент и минеральное удобрение. В чем суть идеи?..

Он подходит к плакатам, развешанным на стене, и начинает объяснять...

Я ведь писал тебе, Виктор... Идея основана на том, что в расплавленный шлак, когда его сливают из мартеновской печи, вводится «затравка», обыкновенная известняковая крошка. И тогда в шлаке спонтанно вырастают кристаллы белита, а этот минерал, как ты знаешь, имеет свойство при остывании сильно расширяться. Да... Вот эти-то кристаллы, как крошечные бомбочки, и разрушают шлак по мере его остывания. Твердый, как скала, шлаковый монолит превращается в мельчайший порошок, в муку. И не нужны ни дробилки, ни мельницы... Идея, конечно, потрясающая...

Вот ты бы видел, как он это преподнес мне... Он начал говорить и весь преобразился, ожил и помолодел лицом. Такая страсть вдруг зазвучала в голосе, такой энтузиазм, так заразил он меня верой в эту идею, что у меня мурашки по спине побежали. И вот я слушаю разинув рот, а он расхаживает взад-вперед по кабинету и, поблескивая очками, говорит, кидая на меня энергичные взгляды:

— Нет, ты представляешь, Ленья!— Это он с ходу перешел на «ты», и я даже не удивился, что он назвал меня Леньей.— Мы превратим этот шлак в жилые дома, в покрытия дорог! Заводы одного только Урала буквально завалят страну дешевым, эффективным удобрением: ведь в мартеновских шлаках чуть ли не вся таблица Менделеева!.. Микроэлементы — вот что дадим мы растениям и взамен станем получать стопудовые урожаи!..

Выговорившись, он подходит к столу, садится и закуривает трубку. И вдруг замечаю: весь он как будто сник: на его побледневшем лице — рассеянность и безразличие, тяжелые веки устало опущены, и, уже не глядя на меня, он говорит глухим, неуверенным голосом:

— Впрочем, все это пока... гипотеза... Все решат эксперименты у мартеновской печи...— И, помолчав, вдруг добавляет: — Но я должен подумать... Позвоните через неделю.

Я растерянно поднялся, вякнул «до свидания» и отправился к Роману. Тот вышел со мной в коридор и, когда я передал ему весь этот разговор и впечатление свое о Фессере, сказал, флегматично улыбаясь:

— Да, шеф — интересный человек, странный и во многом непонятный... Но ты не волнуйся, все будет в порядке.

Действительно, мне и недели ждать не пришлось. Через день Роман позвонил мне на бетонный и сказал: «Можешь увольняться, шеф берет тебя»...

Представляешь мое состояние? Я готов был прыгать от радости... Сажусь, строчу заявление и с ходу — к Жнецу, нашему директору.

Помню, сидит он за своим столом, маленький, краснолицый, словно только что из парной, спрашивает:

— Ну, что скажешь хорошего?— И ждет, насмешливо поджав свои тонкие губы.

Молча подхожу и кладу перед ним заявление...

Надо сказать, что мы не любили друг друга. Жнец меня за то, что я не позволял орать на себя. А мне претила грубость Жнеца. Придет, бывало, в цех, даже не поздоровается и сразу начинает распекать. Раньше он был танкистом, может быть, даже толковым танкистом. Толковый танкист стал бестолковым директором. Дело даже не в том, что он ни черта не понимал в бетонной технологии,— его не любили ни рабочие, ни мастера. Слишком уж любил орать. Я понимал, конечно, что грубость Жнеца — не от сладкой жизни, но все равно душа у меня не лежала к этому человеку...

— От трудностей сбегашь?!— бросает он мне слова, которые я ждал от него.

Но чувствую, раздражительный тон скрывает сожаление, скорее даже — обиду: как бы там ни было, а ему без меня туго придется. Я доказал, что умею работать. Бетонный, когда я принимал его, был в прорыве, а теперь, уже с полгода, держит заводское знамя. Не так-то это легко — найти молодого, работающего начальника цеха. И, веришь, мне стало жаль директора.

— Георгий Иванович,— говорю я тихо,— поймите, у каждого свои пути. Я ведь еще молодой. Может быть, я стану ученым?

Лицо его багровеет еще больше, губы складываются в презрительную усмешку, и он почти кричит:

— Это в здешнем-то институте хочешь ученым стать?!— Голос его звучит слегка гнусаво: он всегда, когда раздражен, отчего-то гнусавит.— Да там одни бездельники сидят, дармоеды!

Честное слово, так мне хотелось рубануть ему пару ласковых. Но я сдержал себя и так же тихо говорю:

— А это уж от человека зависит, Георгий Иванович. Лично я иду в НИИ не бездельничать. Подпишите.

И тут он хватается авторучку и, чуть не протыкая бумагу пером, размахивается визой: «О. К. С двухнедельной отработкой!» — и витиевато ставит подпись.

Сам понимаешь, на свою работу я смотрел теперь как на какую-то принудилровку — душой я весь был там, в лаборатории Фессера... Но кончились и эти две недели. Я получил расчет и зашел проститься к рабочим.

Прихожу — как раз обеденный перерыв. В красном уголке, где все обедали, на истертых до блеска скамьях сидят девчата-мотористки в своих пропыленных комбинезонах. На длинном столе бутерброды, бутылки с молоком... Все уже знали, что я ухожу. Я от души сказал всем спасибо, сказал, где буду работать.

— А че, глядишь, и в профессоры выйдешь, — сказали девчата.

— К нам только захаживать не забывайте, — заметили другие.

А Костя-вагранщик произнес рассудительно:

— А то куды же это годится: с такой головой — и шуровкой вкалывать!

В понятиях Кости — «с головой» был всякий, кто умел выступать на собраниях, а я это умел... Девчата рассмеялись, а мне стало грустно: как-никак я проработал с ними три года...

Дела я сдал старшему мастеру, тому самому, с вагранки. Так он и крутится вместо меня по сей день...

Само собой, мой переход в науку я отмечал с Романом. Вот в этой комнате распили мы бутылку «шампани» и Роман сказал с веселой усмешкой:

— Помни, Леня, что наука, как выразился лорд Байрон, — это обмен одних незнаний на другие. И да пусть дорога твоя будет усыпана розами, а не только шипами...

И началась, старик, для меня новая жизнь.

— О мартеновских плавках вы должны знать все, — сказал мне шеф. — С времен Адама. Читайте. Делайте выписки... Пока не начались плавки.

И я набросился на журналы и книги, как голодный на хлеб... И дома я целыми вечерами читал и конспектировал. Я даже не представлял себе, что так истосковался по

учению. Конечно, научные труды — это не роман. Чего-то я не понимал — тогда обращался за помощью к Лаврентьеву... Но, в общем, это дело так захватило меня, что я как губка впитывал в себя новые знания.

Эта жизнь казалась мне каким-то незаслуженным, случайным счастьем. Раньше, услышав треск будильника, я просыпался нехотя, зевая, с вялой поспешностью облачался в рабочий костюм и шел на завод, хмурый и невыспавшийся. Зарядкой была для меня беготня по лестницам бетонного, а зимой — работа с шуровкой... А теперь мне и будильник был не нужен: сам просыпался и чувствовал себя свежим, бодрым. С удовольствием, давно не испытанным, делал гимнастику, брился и неспешно собирался... Приличный костюм был у меня один-единственный, в нем я и шел в институт. Нет, я никогда не гнушался рабочей одеждой, но, скажи, все же это приятно — шагать по проспекту в чистом костюме и при галстукке... Портфеля у меня еще не было, и я мечтал достать себе красивый, удобный портфель... Короче, настроение у меня было замечательное. Все, на что я ни смотрел, казалось необычным и новым. Я словно впервые увидел город, где жил: и фасады панельных домов, смягченные утренним светом, и шелестящую поземку лимонно-багряной листвы на асфальте, и серебрящиеся в солнечном свете крутые клубы дымов над заводскими трубами... К вестибюлю института тянется поток людей. Все они молоды, по-студенчески оживлены, и я — среди них, я иду в институт, где ждет меня новая, увлекательная работа, — вот какое настроение было у меня, старик. Может, тебе покажется странным, но я чувствовал себя в долгу за это счастье. Тогда я пришел в комитет комсомола и с ходу впрягся в общественную работу. Ты знаешь, я немножко рисую, вот и стал оформлять институтскую газету...

Роман не только помогал мне одолеть теорию. Он учил меня работе с микроскопом, объяснял устройство приборов и вообще — немножко опекал меня. Постепенно я знакомился с людьми. Коллектив был небольшой: несколько лаборантов и сотрудники. Правой рукой шефа был Нежевлев, уже немолодой, с густыми, сросшимися у переносья бровями, с крупными, слегка навывкате, серыми глазами и таким простецким выражением мягкого, широкого лица, что при взгляде на него так и хотелось сказать: «Рубаха-парень»... И жена его, Майя, тоже была

заметной фигурой. Несколько суховатая, педантичная, напоминавшая чем-то учительницу, она обладала острым, насмешливым умом и такой эрудицией, что в научном споре даже Роман пасовал перед ней. Самой молодой и симпатичной женщиной в лаборатории, немножечко кокетливой и простодушной, была Гусарова Ольга Ивановна. Первые дни я ее видел мало: она постоянно бывала в бегах, выполняя различные поручения шефа. Между прочим, довольно скоро я узнал, что Ольга Ивановна не так давно разошлась с мужем и живет одна, воспитывает сына... Ради бога, не подумай, что я проявил любопытство на этот счет. Я узнал об этом случайно, от Людмилы Матвеевны Сперантовой, которая все обо всех знала и страшно любила посудачить между делом. Была у Сперантовой такая слабость, но, в общем-то, женщина она была славная, добрая и работающая. Кстати, внешность у нее довольно примечательная: крепко сбитая, чуть крупноватая фигура и открытое, большеглазое лицо русской красавицы, такое белое и нежное, как будто его молоком умывали. Талант этой женщины был в руках: сильные, ловкие пальцы ее могли в мгновение ока собрать любую электрическую схему. Целыми днями она хлопотала у таммановской печи, где плавил шлаки, а я помогал ей... Короче, если бы меня тогда спросили: как коллектив?— я бы сказал: отличные ребята!.. Но... прошло не так уж много времени, и я убедился, что «отличные ребята»— сложный народ, и однозначно сказать о ком-нибудь из них, хорош он или плох, я бы уже не рискнул. Тогда же мне все представлялось в розовом свете. Мне нравились все, но особенно я восхищался шефом. И дело даже было не в том, что он поразил мое воображение оригинальностью своих идей, нет,— больше всего в нем подкупала простота, доступность и то, что он, руководитель лаборатории (а поговаривали, будто он недавно защитил и докторскую), ученый, одним словом,— держится со всеми, и в том числе со мной, на равных, даже дружески. Верись, это просто умиляло меня... К сожалению, я слишком мало знал людей, чтобы верно судить о них, и конечно же мой кумир оказался... не хочу сказать «совсем не таким», но не совсем таким, каким он представлялся моему воображению. Скоро я убедился в этом...

Помню: мы сидим, работаем. В комнате тишина, лишь в углу, где под вытяжным зонтом чернеет таммановская

печь, чуть слышно гудит трансформатор. Вдруг дверь распахивается настежь, и в комнату врывается шеф.

— Кретины! Сволочи!— бросает он с порога, и полное лицо его дрожит от гнева.— Я открыл им новое направление! Я дал им десяток тем для диссертаций! Я надрывался в работе, как лошады! И я же не имею права взять с собой свои отчеты?! Кляузы вздумали строчить на меня! Я покажу этим ученым недоноскам! Директор поручил мне подготовить ответ! Толя! Пошли!

Толя, то есть Нежевлев, вскакивает и, вытаращив глаза, убегает за шефом.

Я, как обалделый, гляжу на одного, на другого,— все молчат, как будто ничего не случилось. Потом слышу: Роман, не отрывая очков от окуляра микроскопа, негромко говорит, будто думает вслух:

— А зачем это нужно, забирать отчеты? Ведь можно запросить светокпию. Элементарно.

И тут же подает голос Гусарова:

— Вы думаете, им так уж нужен этот пятый, слепой, экземпляр отчета? Просто эти... мелкие людишки хотят отомстить Льву Андреевичу за то, что он ушел от них.— И охватив руками виски, она застывает в этой позе невеселого раздумья и обиды за шефа.

Замечаю: и Майя Нежевлева тоже что-то собирается сказать. Она сидит как раз напротив меня, я отлично вижу, как неясная усмешка блуждает на ее губах. Но нет, усмешка погасает, и взгляд ее, опять серьезный и сосредоточенный, переносится на бумаги, разложенные на столе...

Немного погода ушли все на обед. Остались я и Сперантова: нам нужно было слить расплавленный шлак и провести необходимые замеры. И вот, когда мы с ней топтались у печи, Сперантова и говорит:

— Леонид Александрович, что вы такой невеселый?— Сама она, по обыкновению, в прекрасном настроении: полные губы улыбаются, а на щеках горит румянец от печного жара.— Вас ошарашил Лев Андренч? У него не совсем в порядке нервы. Ведь он пострадал от навета... тринадцать лет!

Я уже знал об этом от Романа.

— А кто это,— спрашиваю,— кляузы на него пишет?

— Руководители института металлургии. Он там раньше работал.— И, видя удивление на моей физиономии,

продолжает:— Да, у него там была лаборатория шлаковых материалов. И с ним работали Нежевлевы и Ольга Ивановна...

— А почему же они ушли оттуда?— спрашиваю.

— Потому что Фессер не поладил с тамошним начальством... Ух, угорела я от этой печки. Давайте передохнем.— Она садится на стул. На ней синего сатина халат, густые русые волосы заправлены под белую косынку, и вся она, плечистая, крепкая, с румянцем во всю щеку, похожа на работницу фермы.— Переработкой шлаков у нас никто не хочет заниматься. Хозяина нет. Строители говорят, что это дело металлургов, а металлурги говорят, что это дело строителей. Иван кивает на Петра. Ну, а Лев Андреич, с его неуемной энергией, попытался сдвинуть это дело с мертвой точки и нажил себе врагов в институте металлургии... Тут как раз его работами заинтересовались в Министерстве строительных материалов. И один руководящий товарищ предложил ему организовать у нас лабораторию...

Спрашиваю:

— Кто же он по профессии?

— Точно не скажу, но кандидатскую он защищал в области физики металлов...— Глаза ее оживленно блестят (между прочим, глаза у нее очень красивые: выпуклые, серые, с голубоватыми белками), и она с увлечением рассказывает:— Ой, у него такая голова!.. Ведь он, едва только МГУ закончил (он сам — москвич), вместе с однокашником своим, Добровым, такое изобретение сделал, что о них писали все центральные газеты и журналы. Лев Андреич показывал нам фотокопии этих статей. Способ термитного литья они изобрели. Не слышали?.. О-о, это чудесное изобретение!.. Сломался, допустим, трактор в поле или танк в бою подбили — и на помощь приходит способ термитного литья. Почти любая сломанная деталь может быть отлита на месте, с помощью специальной термитной смеси, а зажигается эта смесь самой обыкновенной спичкой! Можете себе представить?.. Потом, уже когда Лев Андреич работал на кирпичном заводе в Подмоскowie, он изобрел какой-то «пирокаталитический», сверхскоростной обжиг кирпича, и завод, внедривший этот способ, получил миллионную прибыль... Потом он вдруг увлекся шлаками и уехал на Урал... Представляетe — человеку за пятьдесят, а он бросает благоустроен-

ный московский быт и здесь; почти что в одиночку, нятается решить сложнейшую из проблем — проблему шлаков!..

Отлично помню день, когда я впервые увидел мартен...

На завод мы отправились втроем — Нежевлев, я и лаборант Володя, молчаливый парень в черной сталеварской куртке с поднятым воротником. Ехали трамваем, и помню, как я волновался и все поглядывал на Нежевлева. Нежевлев смотрел в окно и внешне был спокоен, вернее — непроницаем. Наверняка он волновался не меньше меня. Сам понимаешь, работа с расплавленным шлаком не шутка. Температура расплава — тысяча семьсот градусов. Если в огненно-жидкий шлак при сливе его из печи попадет вещество-антагонист — немного влаги хотя бы, — может случиться «хлопок» — так металлурги называют взрыв. И хотя мы прошли соответствующий инструктаж, все равно: малейшая промашка с нашей стороны — и нас выгонят с завода, и никогда больше не пустят...

А завод был огромный. Я никогда такого не видал. Это был настоящий город из разбросанных там и тут высоких, мрачноватых корпусов, бетонных эстакад, градирен и нескольких десятков труб, пускавших в небо мощные клубы дымов. По территории завода мы шагали с полчаса, прежде чем вышли к мартену. Железная калитка цеха с треском хлопала, впуская и выпуская рабочих.

И вот мы попадаем в длинный, полутемный коридор. Из конца коридора ведет куда-то вверх бетонная лестница. Поднимаемся и вдруг оказываемся на широком железном помосте, залитом ярким электрическим светом. И тогда обрушивается на меня лавина мощных звуков: звонки и хлопанье магнитных пускателей, чугунный перекат колес мостовых кранов, лязг и скрежет железа и где-то внизу — короткие свистки паровоза, — все это гремит и движется слева, за железной решеткой перил, и этот хаос звуков кажется мне угрожающим. Чувствуя себя маленьким и ненужным, кошусь на Володю и вижу, какое у него бледное, встревоженное лицо, — наверняка у меня такое же. И только Нежевлев, шествующий вдоль перил своей неспешной, гуляющей походкой, кажется мне совершенно невозмутимым. Вглядываясь в туманный, грохочущий за перилами провал, он кричит в мою сторону:

— Шихтовый пролет называется!

И вот железный помост приводит нас к мартеновским печам. Перед печами на рифленном чугунном полу пляшут багровые сполохи пламени и стоит непрерывный гул печного газа. В пролете, чуть не задевая пола, мечется странная машина, подвешенная к мостовому крану, мечется и, как при пожаре, звонит в железный колокол. Из-под кабины машины торчит массивный хобот. Хватая этим хоботом стальные коробки, доверху груженные ржавым железом, машина с грохотом вталкивает их в раскрытые окна мартена, и окна сверкают в ответ ослепительным пламенем.

— Завалочная машина!— кричит мне на ухо Нежевлев, и я с опаской обхожу ее, думая, как бы эта дура-машина случайно не задела меня...

Но вот мы добираемся до крайней, четвертой, печи. Здесь спокойно, безлюдно и чисто. Лишь из круглых отверстий крышек вырываются хвосты коптящего пламени. Нежевлев направляется к выбеленной будке управления. Сквозь ее раскрытую дверь виднеется пульт с крупными циферблатами приборов. Из будки выходит сталевар с худым, изрезанным морщинами лицом. Нежевлев заступает ему дорогу и начинает что-то толковать. Он кивает на меня с Володей, на мартеновскую печь, на недвижно висящую в стороне завалочную машину, но сталевар молчит, и, глядя на его угрюмое лицо, можно подумать, что он сейчас прогонит Нежевлева. Но сталевар неожиданно кивает в знак согласия и отходит в глубину пролета. Вскоре он возвращается с завалочной машиной — на хоботе ее уже висит чугунная коробка, полная известняковой крошки,— и мы приступаем к работе.

На мне суконная куртка, войлочная шляпа, рукавицы, и я с Володей ведрами таскаю известняковую крошку к выпускному желобу печи. В этом месте бешено вращается большой вентилятор, но все равно жара тут как в парной, и по лицу моему, затекая в глаза, катятся струи пота. По ту сторону лотка вижу Нежевлева с перекинутым через плечо оптическим пирометром. Это прибор такой, для измерения температуры расплава. Нежевлев прохаживается вдоль перил и жестом просит нас «нажать»...

Может, зря я тебе так все подробно рассказываю, но ты ведь не бывал в мартене?.. Ну, если интересно, слушай...

И вот, едва я только высыпал последнее ведро, к желобу вдруг подбегает молодой, юркий в движениях сталевар. Схватив с полу длинную железную пику, он широко размахивается и начинает с ожесточением бить этой пикой куда-то в начало лотка. Ноги его широко расставлены, и правый ботинок увяз в известняковой крошке. Вдруг сталевар оборачивается, делает страшное лицо и что-то кричит мне... Конечно, за гулом печного газа ни шута не слышно, но я на всякий случай отодвигаюсь назад. В тот же миг отскакивает в сторону и сталевар. А секундой позже с фырканием вылетают из печи огненные лохмы, по лотку, ртутно сверкнув, скользит ослепительно белая змейка, вздувается на бегу, и тотчас светлый, режущий глаза поток устремляется вниз, пожаром озаряя ковш, приставленный к лотку, ажурные перила, насторожившегося по другую сторону лотка Володю и за его спиной — Нежевлева, прицеливающегося пирометром в струю расплавленной стали.

Закрывшись от жаркого зарева рукавом, заглядываю в ковш: там пузырится и брызжет дрожащая масса стали... Вдруг вижу: Нежевлев взмахнул рукой, давая знать, что сталь слилась и теперь идет шлак. С лопатой наизготове бросаюсь к известняковой крошке и, ежась от жара, начинаю кидать ее в струю. Раз кинул — мимо, второй раз — мимо... Не видно ничего: пыль в глаза летит. От огненной струи несет на тебя таким зноем, что кажется, шагни поближе — и сгоришь... И все-таки заставил я себя шагнуть поближе, и сразу же стал попадать...

Нежевлев предупредил меня, что шлак сходит за две-три минуты и в эти минуты нужно успеть забросить крошку, всю до последнего килограмма. А я не успевал. Как ни пыжился, но даже не мог угнаться за Володей. Этот парень работал как машина. Он уже кончал, а я не забросил еще и половины своей доли. И вдруг чувствую, чьи-то руки взялись за мою лопату и кто-то плечом отесняет меня назад... Что поделаешь? — пришлось подчиниться этой уверенной силе. Я отступил и узнал того самого сталевара, который пробивал затычку в печи. Видел бы ты, как он забрасывал крошку!.. Броски у него были классные. Тело его сгибалось и разгибалось, как стальная пружина, и крошка, лопата за лопатой, ложилась в самую сердцевину струи. Он кончил, соскреб остатки, скинул их на подернутый красной коркой шлак в

ковше и ушел — я даже спасибо не успел ему сказать...

Тут подошли Нежевлев и Володя. Красное лицо и распахнутая грудь Володи блестели от пота.

— Хэ, а вы волновались, — сказал мне Нежевлев и весь расплылся в простецкой улыбке. — Айда газировку пить!

Подходим к сатуратору. У будки грудятся сталевары — парни как на подбор кряжистые, широкоплечие. Их влажные от пота лица отливают красной медью. Держатся по-хозяйски, уверенно, на нас — ноль внимания. Выпив по кружке газировки, утираются кулаком и развалистой походкой направляются к печам... И, странное дело, раньше я читал о героизме сталеваров, но меня это как-то не трогало, а вот увидел их в обычной, рабочей обстановке и понял, что это — стоящие парни...

Эх, с каким же удовольствием выпил я кружку резкой, подсоленной газировки! Выпил и, веришь ли, почувствовал вдруг, что и я хватил чего-то сталеварского...

Потом мы спустились в литейный пролет, в этот хаос из мешанины чугунных изложниц, горячих сталеразливочных ковшей и огромных, в два человеческих роста, шлаковых чаш. Подобраться к опытной чаше было не так-то просто: это напоминало хождение по лабиринту. Все-таки мы добрались до нее, до этой шлаковни. Морщась от жара, Нежевлев мелом написал на ее прокопченном боку: «Опыт». Но прежде чем уйти, мы подошли к компрессорному шлангу, чтобы очиститься от пыли. Струя холодного, резкого воздуха насквозь продувала одежду, и толстый резиновый шланг трепыхался в руке, словно живой.

А ночью мне снился мартен: сполохи печного пламени, бурлящая сталь в ковше и медноликие сталевары, пьющие газировку...

На другой день, чуть свет, я бегу на завод, на шлаковый двор. Разыскиваю мастера. Шлак уже разгрузили в тупике, за мартеном. Шлаковая отливка напоминает огромный угольно-черный колокол. Над его округлой поверхностью дрожит голубоватое жаркое марево. Хожу вокруг и даже представить себе не могу, как такая махина рассыплется в порошок. И тут подходят любопытствующие — старик и двое парней в промасленных брезентовых робах. Один из парней, глядя на шлак, не без иронии бормочет:

— Ай-яй, не желает распадаться.— Лицо у парня какое-то бабье, мягкое и круглое.

— Как его, черта, уберешь отсюда?— ткнув слиток кирзовым сапогом, говорит его товарищ.— Кран вызывать? Сроду шлак на свалку возили, а тут на тебе: цемент!

Старик, сухопарый, с худым, небритым лицом, сердито косится на него:

— Мели, Емеля! Мало что раньше.— Он вытаскивает из кармана самодельный дюралевый портсигар и закуривает тощую папирску.

Я говорю неуверенно:

— Наверно, слишком еще горячий...

Парни ехидно усмеваются.

Полчаса проходит. Я нервничаю, поглядываю на дорогу: Нежевлева все еще нет.

Вдруг старик опускается на корточки и, ткнув рукавицей в расщелину слитка, спрашивает:

— А это не оно?

Нагибаюсь посмотреть: из расщелины, точно, сыплется какая-то пыльца. «Может,— думаю,— мусор?»

Парни оживляются:

— Глянь! Вон где прыскает!

— Где?

— Да вон, вон, гляди. Вишь, корка отскочила!

Смотрю — точно: корка начала трескаться. Из-под нее прыскают фонтанчики пыли. А через несколько минут уже по всей подернутой серым налетом поверхности слитка заструились ручьи шлаковой пыли. Чувствую, как с души свалился камень: наконец-то!

В возгласах парней уже не издевка — восхищение:

— А и вправду на цемент похоже!

— Глянь: ключом забило!..

— Архипыч, валяй за мешком! Цементу насыплем...

И они начинают шупать и нюхать шлаковый порошок. Беру на ладонь горячий порошок, он издает слабый сернистый запах. И тут меня прохватывает радостная дрожь. Мне хочется бежать, звонить!..

И вдруг вижу Нежевлева. Он идет от переезда, не спеша идет своей небрежной, гуляющей походкой. В руке новенькое, оцинкованное ведро. Мне так и хочется броситься к нему навстречу.

Вот он подходит, ставит ведро на землю и, не глядя

на шлак, со всеми здороваётся за руку. Потом поворачивается к слитку и говорит с ласковым смешком:

— Что, бродяга, сыплешься?

Архипыч смотрит на Нежевлева, как на факира. В глазах старика светится почтение.

— Как же вы его?— спрашивает.— Али че добавляли?

Губы Нежевлева расплываются в улыбке:

— А как же, отец. Конечно, добавляли.

Архипыч озадаченно качает головой.

— О, денег-то огребут!— восхищается парень с бабьим лицом.

Второй недоверчиво спрашивает:

— А че, цементом этим ежели, скажем, гараж обмазать, будет держать?

На расплывшейся в улыбке физиономии Нежевлева проскальзывает чувство превосходства.

— Хэ, гараж! Дома штукатурить можно, фундаменты класть. А ты — гараж!.. Сад у вас есть у кого-нибудь?

Парень с бабьим лицом настораживается:

— Ну и че? У меня есть...

— А ты вот попробуй-ка этим шлаком сад удобрить. После мне спасибо скажешь.— И, не глядя на озадаченного парня, небрежно говорит: — Что, двинули, Леонид Александрович?..

Я зачерпываю полное ведро шлакового порошка, и мы направляемся к дороге. У переезда оглядываюсь: шлаковый слиток, облитый утренним солнцем, кажется белым как снег, и на этом белом фоне четко темнеют три неподвижных фигуры.

— К вечеру слиток разложится,— оглянувшись, утверждает Нежевлев тоном знатока.

Я восхищенно говорю:

— Ну и голова у нашего шефа! И как это он додумался до такого?

Нежевлев пожимает плечами:

— Это еще пока идея. Важно другое: хватит ли шефа довести до конца эту работу...

— Почему же не хватит?

— Разбрасывается слишком. Если увлекается новой идеей, старая для него не существует. А идеи у него родятся десятками,— в голосе Нежевлева звучит насмешка.

— Разве это плохо — новые идеи?— спрашиваю.

Нежевлев усмехается:

— Смотря для кого. Деньги ему выделяют под одну идею, а он разрабатывает другую. Не доведет ее до конца, хватается за третью. Если бы все так работали, как шеф, институт бы в два счета прогорел. Когда мы работали с ним в институте металлургии, мне только и приходилось кляузы разбирать между Фессером и руководством — я там предместкома был... Любая идея, Леонид Александрович, — это лишь замысел. А результат — промышленная технология...

— Но мы как раз и идем к промышленной технологии... Нет, не может быть, — говорю, — чтобы шеф забросил такую замечательную идею...

И Нежевлев с той же непонятной для меня усмешечкой отвечает:

— Если все пойдет нормально, хорошо и быстро, может, и не забросит...

Выходим к трамвайной остановке, садимся в полупустой вагон, и когда трамвай, гремя и виляя из стороны в сторону, трогается, Нежевлев, остановив на мне свои большие, выпуклые глаза, доверительно говорит:

— Разговор между нами, но... на месте шефа я бы не стал дробить силы. Мы чем только не занимаемся: и шлаковым литьем, и грануляцией, и шлаковой пемзой... Мартеновские шлаки, доменные, цветные, ферросплавные... винегрет какой-то. Я бы всех: Лаврентьева, Спераптову, Майю — всех бросил бы на способ самоизмельчения мартеновского шлака и досконально бы его проработал. А то что мы втроем?.. Да не втроем, а вдвоем. С Гусаровой что возьмешь? Она ведь торфяник!..

«Она ведь безграмотная!» — так прозвучала эта фраза, и это покорило меня...

Я ничего ему не ответил, промолчал и почувствовал себя неловко. Наконец приехали. Поднимаемся на второй этаж, открываем дверь и входим к шефу. Едва увидев нас, он вскакивает из-за стола:

— Ну как? Получилось?! — Лицо его озаряется детски непосредственной радостью.

Я поднимаю ведро, с улыбкой ставлю его на стул. Шеф погружает руку в порошок и, вскинув тяжелую голову, возбужденно говорит:

— Ну, ребята! Акции наши поднимаются!

И, кинувшись к раскрытым дверям, кричит на весь коридор:

— Оля! Люда! Майя!

А в следующий миг уже рокошет в телефонную трубку:

— Алло! Валя? Валюша, Александр Иванович у себя?.. Пусть он возьмет... Александр Иванович? Фессер говорит. Можете нас поздравить. Великолепнейший распад! Удельная поверхность, как у цемента!— Фессер молодеет от радостной улыбки и в эту минуту напоминает большого ребенка.— Только что! Горяченький! Безусловно... Сейчас иду...

В кабинет вбегают Гусарова и Сперантова, глаза у них испуганные. Следом всплывает Майя.

— Эврика, девочки! Шлак рассыпается!— кричит им шеф и, показав на ведро, начинает весело метаться по комнате.

Женщины окружают ведро, шупают шлаковый порошок, пересыпают его из ладони в ладонь.

— Ой, какая прелесть!— поет Сперантова, и глаза ее блестят от восхищения.

— Как мука!— вторит ей Гусарова и влюбленными глазами смотрит на шефа.

Естественно, я тоже чувствую себя именинником. И только Нежевлев стоит, невозмутимо курит и чему-то про себя усмехается.

Майя Нежевлева подходит к шефу и, скупно улыбнувшись, говорит:

— Поздравляю, Лев Андреич...

Но шеф вдруг озабоченно сдвигает брови и, подойдя к ведру, обращается к Гусаровой:

— Оля, набери, пожалуйста, порошка в колбочку. Быстренько. Александр Иванович хочет посмотреть. А ты, Толя... Нет, ты пойдешь со мной. Расскажешь все подробности. Лучше ты, Люда,— говорит он Сперантовой,— отнеси пробу на анализ. Скажи, что срочно, для зама по науке...

Вдруг он подходит, обнимает меня и Нежевлева за плечи и, прижав к себе, отпускает со словами:

— Молодцы, ребята!

И вновь начинает расхаживать по кабинету, торжествующе говорит:

— Вот он, великий закон диалектики! Единства и борьбы противоположностей! Шлаки — отбросы для металлургов и — ценное сырье для строителей и агротехников.

Новые свойства шлака — это птица Феникс, возродившаяся из пепла и огня! А разве нет?!

Пригнув тяжелую голову, сцепив за покатою спиной свои пухлые руки, он ходит взад-вперед по кабинету и, поблескивая золоченой оправой, бросает в нашу сторону краткие, энергичные фразы:

— А теперь за дело, ребята! Обстановка нам благоприятствует. Экспериментальная база рядом — металлургический завод! Руководство в обкоме, в главке, в институте обещает нам всемерную поддержку. Шлаки — это золото, и выбрасывать их в отвал — преступление! Чем скорее мы это докажем, тем быстрее начнется внедрение. Сперва на заводах Урала, а потом — по всей стране! От вашего энтузиазма зависит очень многое... К сожалению, мои ресурсы материального поощрения ограничены. Но что касается морального... Если все пойдет как надо, мы выставим технологию самоизмельчения на соискание Государственной премии! Да, да, и каждый из вас будет участвовать на паритетных началах!..

Я вижу, ты недоверчиво усмехнулся... Вот точно так же усмехался и Роман, когда я рассказывал ему о нашем успехе и о том, что шеф намерен выставить нашу работу на соискание Государственной премии. И, честно скажу, меня обидело это недоверие Романа. Оно показалось мне оскорбительным, потому что бросало тень на шефа... Ты должен понять меня: я был настолько заражен энтузиазмом Фессера, так верил в его идею самоизмельчения шлака, что готов был за него в огонь и в воду! И тут я впервые усомнился в Романе. «Уж не скептик ли он? — подумал. — Есть такие, они сомневаются даже в очевидном...» А для меня очевидным было, что именно такие работы, как наша, и заслуживают Государственной премии! И я сгоряча чуть не поссорился тогда с Романом...

Ты, наверно, думаешь, когда же я, черт побери, расскажу о своей личной жизни? Все работа, работа... Наберишь немножко терпения, сейчас ты услышишь и об этом. Расскажу, как познакомился с одной чудесной девушкой.

Самое интересное, что и этому знакомству я тоже в какой-то мере обязан Лаврентьеву. Дело в том, что это он, Роман, сагитировал меня засесть за подготовку кандидатского минимума по философии и иностранному, и вот, когда я в конце декабря отправился на консультацию

по английскому в Педагогический, там я и встретил эту девушку...

Помню, накануне выпал первый настоящий снег. Он шел весь день и всю ночь и к утру сравнял шоссе с тротуарами. Пухлыми коврами лежал он на балконных площадках, на крышах троллейбусов и трамваев, пухом осел на корявых ветвях тополей.

Иду по улице — настроение чудесное, загребаю ногами невесомый снег. Он так притягательно чист, этот первый уральский снег, так и хочется нагнуться и потрогать его рукой. И я нагибаюсь, зачерпываю ладонью снежного пуха и хватаю его губами. Вкус снежной влаги напоминает мне детство, и вдруг вспоминается Волга, Камышин, наш старинный домишко, маленький, как скворечня, — над самым крутояром Волги он стоял, — и вижу мать: она сидит, согнувшись у раскрытого окна, и что-то, по обыкновению, шьет...

Народу на улице мало, потому что суббота и день только занимается. Я сажусь в троллейбус и еду в центр, в Педагогический...

Троллейбус стар, на ходу дребезжит, как разбитая телега. Натасканный ногами снег тает на мокром резиновом полу и растекается лужами. Окна сплошь затянуты морозными узорами, и эти узоры напоминают перепутанный гербарий из каких-то диковинных белых листьев. Я приставляю губы к стеклу и дышу: в гербарии вытает круглая гляделка. Смотрю через нее на улицу: мимо проплывают заиндевелые деревья, фасады домов, проносятся верткие легковушки. Всё в снегу и в иное, и от этого город кажется декоративным...

На полпути случился затор, я выбрался из троллейбуса и пошел пешком, поэтому немножко запоздал: когда я вошел в учебный кабинет, все уже сидели на местах и следом за мной открывала дверь преподавательница-англичанка. Спешу к ближайшему столу. За столом, склонившись над конспектом, сидит какая-то девушка; лица не видно, оно занавешено прядью светлых, пушистых волос. Тихонько спрашиваю:

— Здесь свободно?

Она откидывает прядь и говорит:

— Свободно...

И вот тут, старик, наши взгляды встретились, всего лишь на мгновение, но веришь... как будто что-то вдруг

кольнуло меня, нежно-нежно. Может быть, это — предчувствие любви? Наверное, это люди называют «любовью с первого взгляда». Пусть так...

Я сижу и глаз не могу от нее отвести...

«Гуд мониинг!» — говорит англичанка. Ей хором, пошкольному, отвечают: «Здравствуйте». Она подходит к доске и пишет какое-то длинное предложение. Оказывается, речь идет о совершенных временах. Я лихорадочно ищу авторучку и никак не могу найти ее. Так и есть: я забыл ее дома, растяпа. Поворачиваюсь к соседке. Ее лицо опять занавешено прядью волос. Из-за волос виден только кончик носа и устремленный на доску глаз в пушистом обрамлении ресниц.

Я придвигаюсь к ней ближе и шепчу:

— Простите, у вас случайно не найдется карандаша? Или ручки?

Движением головы она откидывает волосы к плечу, открывает черную сумочку, достает оттуда шариковую ручку и, молча протянув ее мне, склоняется над конспектом.

Я с чувством шепчу ей:

— Спасибо...

Но она уже прилежно водит авторучкой. И я с покаянной поспешностью тоже принимаюсь конспектировать и слушать. И вот я слушаю, пишу, но все это делаю наполовину механически, потому что мысли мои заняты девушкой... Я то и дело поглядываю на нее и чувствую, как сладко и тревожно у меня подрагивает сердце. Я без помех могу теперь рассматривать ее, потому что лицо ее открыто, а светлая прядь волос откинута на затылок. Странное дело, я вдруг замечаю, что каждая ее черта в отдельности несколько не красива. Губы полные, хорошие, но верхняя чуть-чуть коротковата, виднеется белая полоска зубов. И нос, пожалуй, маловат для высокого, совсем не женственного лба и крупного, округлого подбородка. Мне и сейчас удивительно, как от сочетания таких неправильностей могла получиться эта милая красота...

Час консультации пролетает как несколько минут. Я возвращаю девушке ручку, благодарю ее, она, чуть улыбнувшись, отвечает: «Не за что», — и к выходу мы идем вместе.

— Интересно, на экзаменах здорово спрашивают? — задаю я вопрос, чтобы как-то завязать разговор.

Она говорит:

— В последнее время жестче стало. Нужно не только уметь переводить, но и по-английски отвечать на вопросы.

Я обескураженно улыбаюсь:

— Ну... я наверняка провалюсь. В разговорной речи я совсем не волоку. Да и вообще я все перезабыл...

Она с улыбкой признается:

— Я тоже основательно забыла. Но английский быстро вспоминается.

Я спрашиваю:

— А вы тоже собираетесь в аспирантуру?

— Я уже учусь,— говорит.— Очно, на кафедре химии...

— Тогда вы наверняка сдадите,— шучу, и она улыбается.

Спускаемся в гардеробную. Я перехватываю у гардеробщицы пальто своей соседки и не очень-то ловко подаю сам, ощущая в руках пушистую податливость ондатрового воротника. Она благодарит и отходит к зеркалу. Я стою в сторонке, поглядываю на нее. Каким-то особенным, эластичным движением она покрывает голову белым, пушистым платком, заправляет концы под воротник, неторопливо застегивается, потом, пошевеливая пальцами, натягивает черные перчатки, и я удивляюсь, как это все ей здорово идет: и белый платок, и светлое пальто, и белые сапожки...

Я открываю перед ней дверь и, спускаясь по ступенькам подъезда, весело говорю:

— Раз уж мы пачали с вами знакомиться, то... давайте до конца. Меня звать Леонидом, а вас?

— Наташа...

Кстати сказать, Наташа — мое любимое имя. Мою маму тоже звали Наташа...

Я спрашиваю:

— Вам на троллейбус или пешком?

— В такую погоду приятней пройтись...

Соглашаюсь:

— Да, погодка что надо!

Белый проспект сверкает и искрится на солнце. Тени от домов и прохожих голубеют на снегу тротуара. Воздух схвачен легким морозцем, и когда вдыхаешь его, чувствуешь во рту его холодящий вкус.

Наташа говорит:

— Люблю пробежаться на лыжах по такому снежку.

В лесу тишина, пахнет хвоей, а на лапах сосен и елей — мохнатые подушки снега... Хорошо!.. Вы любите лыжи? — Да что вы! — говорю. — Какой из меня лыжник?.. Я на Волге вырос, в Камышине. А вы знаете, — говорю, — в переводе с древнеславянского Волга означает «святая», «вольная», «блистающая»!

Она удивленно спрашивает:

— Правда?.. Я никогда не бывала на Волге... А здесь, на Урале, вам нравится?

Я пожимаю плечами.

— Как вам сказать?.. Урала я еще не видел, хотя и живу здесь третий год. Все некогда было. У меня такая была работа — здесь, на бетонном заводе, — что даже в выходные дни приходилось вкалывать. А в отпуск я уезжал на родину.

— Неужели, — спрашивает, — вы не были на озерах?

— К стыду своему, ни разу...

— Ой, что вы! — говорит. — Это ведь чудо!.. Знаете, какая у нас на озерах вода! Любой камушек на дне зиден как на ладони...

— Ну, теперь-то, — говорю, — обязательно выберусь за город. Я сейчас в НИИ работаю, и все выходные — мои...

И вдруг она говорит:

— Ну, вот я и пришла...

Оглядываюсь. Стоим мы у большого старинного дома с аркой посредине. Наташа протягивает мне руку и, весело глядя на меня, говорит:

— До свидания.

А мне так не хочется расставаться с ней. Я грустно говорю:

— До свидания. Счастлив, что случай познакомил нас...

Она поворачивается и, пройдя под аркой, скрывается в глубине двора. А я стою, и у меня в ушах звучит ее голос... И вдруг вспомнил Надю...

Ты ведь помнишь ее, мою первую любовь?.. Год дружбы, надежда — и все полетело прахом, нелепо и неожиданно. На втором курсе она вдруг вышла замуж и уехала в Москву. На прощанье сказала: «Ты хороший парень, Леня. Не сердись». Она не любила, факт... И вот — Наташа... Смутное предчувствие мне говорило, что это — не обычное знакомство. Именно о такой я и мечтал.

Короче говоря, влюбился я, старик... Перед самым Новым годом, прощаясь со мной возле дома с аркой, она говорит:

— Заходите в гости.

Но адреса не назвала, и я подумал, что по рассеянности.

Новый год я встречал у Романова брата. Старший брат — крупный инженер-проектировщик, и дом у Лаврентьевых — полная чаша. Гости были все солидные. А в общем-то, скучновато было.

На следующий день, проскучав до вечера, решил я отправиться к Наташе. В конце концов, она ведь меня приглашала, так почему бы и не сходить? И вот пошел...

Помню: вечер, чуть-чуть подмораживает. Свет фонарей обдаёт проспект желтоватым заревом. Резво проносятся такси, скользя по снегу алыми огнями стоп-сигналов. На площади, у подножия огромной ели, украшенной цветными гирляндами ламп, кружатся пары, и репродуктор разносит мелодию вальса. Слышатся смех, молодые, звонкие голоса. А я иду и волнуюсь. Волнуюсь и успокаиваю себя: «Я только поздравлю с Новым годом...»

Под аркой дома, как в аэродинамической трубе, тянет сквозняком. Двор, огороженный высокими домами, кажется дном огромного колодца. Я шныряю от подъезда к подъезду и, напрягая глаза, всматриваюсь в списки жильцов: нет, фамилия Наташи там не значится. Тут, на счастье мое, выходит из подъезда женщина. В тяжелом зимнем пальто с рыжей лисой, она напоминает старую барыню. Спешу ей навстречу.

— Простите, вы не знаете, где здесь живут Светликовы?

Женщина оборачивается, удивленно спрашивает:

— Светликовы? А кто именно вас интересуется?

— Наташа...

— Ах, Ната-ашенька! — чему-то вдруг радуется «старая барыня». — Так это дочка Антонины Ивановны. Но они не в этом доме живут, а вон в том, — и она кивает подбородком на трехэтажный дом напротив, в глубине двора. — Двадцатая квартира.

Я благодарю старуху, она улыбается мне с добродушной проницательностью...

Подхожу к трехэтажному дому и по истертой камен-

ной лестнице поднимаюсь на второй этаж. На дверях блестит целый пульт из кнопочных звонков. Разыскиваю табличку «Светликовы», нажимаю на белую кнопку. С минуту стоит тишина, и я чувствую, как от волнения холодеют мои руки. Слышу: шаркают шаги. Вот они приближаются, щелкает английский замок, и в отворившихся дверях появляется женщина, повязанная цветастым передником. У нее карие Наташины глаза и доброе лицо в сетке тонких морщин.

Здороваюсь и спрашиваю:

— Наташа Светликова здесь живет?

Женщина приветливо улыбается:

— Да, да. Проходите. Наташенька дома...

Она закрывает за мной дверь и ведет по коридору. В коридоре сумрачно. По левой стороне тянется ряд обитых дерматином дверей, справа, из кухни, плывет навстречу смешанный запах щей, компота и подгорелой каши.

Женщина открывает одну из дверей и, пропустив меня вперед, говорит:

— Пожалуйста, входите. Раздевайтесь. Сейчас я позову ее...

Осматриваюсь: в комнате тесновато, но в каждой вещи — в стареньком зеркальном шифоньере у двери, в потускневшем от времени пианино, в никелированной кровати с горкой подушек, в оранжевом с тяжелыми кистями абажуре, подвешенном в центре лепного потолка, — чувствуется какой-то обжитой, старинный уют. И мне вдруг становится неловко: ведь меня не ждали! Делать, однако, нечего. Вешаю на крючок пальто и, сжав похолодевшие пальцы, погружаюсь в ожидание.

Наконец дверь отворяется, я вижу Наташу; на мгновение глаза у нее удивленно расширяются, и вдруг лицо ее начинает медленно рдеть.

— Добрый вечер, — я чувствую, что тоже краснею.

— Здравствуйте, — отвечает она и, оглянувшись на мать, вошедшую с чайными приборами на подносе, представляет меня:

— Познакомься, мам. Это мой сокурсник по английскому...

Мать ставит поднос на стол, протягивает мне руку:

— Антонина Ивановна.

Я смущенно бормочу:

— Леонид... Извините, пожалуйста, за такое вторжение. Я только на минутку забежал, поздравить с Новым годом...

— Вот и хорошо,— улыбается мать.— Сейчас будем чай пить. Проходите, Леня...

Я сажусь, и вдруг Наташа весело спрашивает:

— Как же вы нашли?..

Смеясь, рассказываю:

— Вообще-то, я основательно побегал. Думал, вы живете в доме с аркой. Ну, а потом встретил какую-то женщину, она и подсказала. Такая с рыжим лисьим воротником.

— А-а,— улыбается Наташа,— Зоя Глебовна, мамина приятельница...— Она садится рядом со мной.

— Хотите настоечки, Леня?— спрашивает мать, разливая чай и накладывая в розетки варенье.— У меня есть.

Отказываюсь решительно:

— Нет-нет, спасибо. Новый год я уже отметил.

Она подает стакан крепко заваренного чая и пододвигает тарелку с румяными шанежками:

— Кушайте, Леня. Только-только из духовки...

Надо сказать, шанежки были действительно замечательные, и чай был тоже хорош. Чаепитие напомнило мне одну историю:

— Когда я пью такой чай, то вспоминаю бабушку. Задлая была чаевница. Только чаепитие с «таким», как у нас говорят, она не признавала. Хоть что-нибудь, хоть маленький кусочек сахара, хоть повидло из арбузных корок, а должно быть к чаю. Иначе за стол не сядет.— Я смотрю на Наташу: карие глаза ее блестят, губы улыбаются, и я чувствую, как начинаю входить в колею.— Так вот, дело было во время войны. Сахар выдавали по карточкам, и как бабка ни хитрила, как ни экономила — не хватало сахара. Даже сахарная свекла тогда считалась лакомством. Несколько дней мучилась бабка, и вдруг одна знакомая приглашает ее в гости, ставит самовар и подает... варенье в вазочке. Бабка напилась досыта чаю с вареньем, растрогалась и, кланяясь на прощанье, крестясь, с чувством пожелала подружке: «Царствия тебе небесного, Андревна! А родителям твоим доброго здоровья!» Все перепутала, старая!..

Смеюсь, и они обе смеются.

Вдруг в коридоре длинно звенит звонок. Этот звонок

будто сдернул веселье за столом. Наташа подходит к дверям, выглянув наружу, говорит:

— Уже открыли...

Слышу четкие, уверенные шаги. Дверь распахивается, входит молодой, довольно интересный мужчина. Видел я его раз, этого пижона... И вот он входит и таким артистическим голосом говорит с небрежным полупоклоном:

— Приветствую вас!

Легким свободным движением выскальзывает из пальто и, повесив его в угол, спрашивает:

— Что, Наталка, ты, как всегда, не готова?— И с веселой сплсходительностью окидывает ее взглядом.

— Подождешь,— спокойно отвечает Наташа и переводит глаза на меня:— Знакомьтесь...

Коротко и, мне показалось, насмешливо взглянув на меня, он холодно кивает:

— Вадим.

— Вересов,— говорю я деревянным голосом и краснею.

— Вадим, чай будешь пить?— спрашивает мать.

Он вежливо улыбается:

— Вы же знаете, я пью только кофе, черный.

— Ну и зря. Сердце испортишь.— Она поднимается и начинает убирать посуду.— Как там ваши? Пишут?

— Батя прислал письмо.— Вадим проходит к плетеному креслу, садится и, закинув ногу за ногу, начинает постукивать ладонью по подлокотнику.— Поздравляет с Новым годом. Там у них Новый год в июне... Вам, разумеется, поклоны. Пишет, что его ассистента хватил солнечный удар. Едва удалось спасти беднягу. Африканское солнце не жалует бледнолицых...

Представляешь мое состояние, Виктор?.. Я сижу как истукан. Чувствую, что нужно откланяться, и никак не могу подняться, словно меня пригвоздили к стулу!.. Вижу: Наташа, приоткрыв зеркальную дверцу, копается в шифоньере, с полным подносом в руках вышла из комнаты мать, а я все сижу... И вдруг... ты, Виктор, не поверишь... Когда Наташа с перекинутым через руку платьем проходила мимо Вадима, этот пижон... Знаешь, что он сделал?.. Он лениво усмехнулся и таким небрежным жестом шлепнул ее пониже спины... Уверен, он это сделал нарочно, чтобы дать понять мне, что карта моя бита... И я это по-

нял, тем более что она, Наташа, даже не оглянулась на Вадима...

Я как оплеванный вскакиваю и чужим, вдруг охрипшим голосом бормочу:

— Спасибо за чай... Быстро прохожу к дверям, поспешно надеваю пальто: — Я ведь так, заглянул на минутку, мне пора. До свидания...

— Счастливо,— бросает мне Вадим.

— Я вас провожу,— говорит Наташа и выходит со мной в коридор.

Я говорю:

— Нет-нет, не стоит.— И торопливо, почти бегом, устремляюсь к дверям...

Лишь когда я выскочил во двор, до меня вдруг дошло, почему она мне не дала адрес... «Лопух, какой же я лопух!» — крыл я себя, но когда пришел домой и бросился на кровать, то подумал: «А может, я желаемое принимаю за действительное?.. Обыкновенное знакомство, обыкновенная студенческая дружба и ничего больше?» Мне стало горько, старик, ох как горько, что так грубо оборвалось мое счастливое состояние...

Да, я влюбился, но самолюбие мне говорило: забудь ее, выбрось из головы эту блажь... И когда я увидел ее на консультации, я сделал равнодушное лицо и лишь кивнул, как едва знакомому человеку. Я заметил удивленную усмешку на ее губах, но прошел мимо: теперь я занимался за другим столом, потому что дал себе слово избегать ее... Конечно, выдерживать характер было нелегко, но помогало то универсальное средство, которое спасает от любых неприятностей,— работа... А работы было невпроворот.

В мартене эксперименты шли один успешнее другого. Я приготовил на бетонном несколько кубометров раствора на шлаковом порошке и испытал его в кладке. Раствор ложился как бархатный и по прочности оказался не хуже цементного. Короче, хоть нам и доставалось с Нежевлевым (особенно нас допекала жара мартена), дела наши шли неплохо. Вскоре лабораторию Фессера стали называть ведущей, и в февральском номере стенной газеты я по заданию редактора нарисовал дружеский шарж на шефа: в облачении персидского мага, он стоит на огром-

ной куче шлака и, скинув руки вверх, произносит заклинание: «Рассыпсья!»

Шеф от успеха помолодел. Когда он входил в лабораторию, возбужденный, улыбающийся, и, отпустив какой-нибудь каламбур, принимался обсуждать дела, я видел в нем скорее товарища, чем начальника. Но он не всегда был таким...

Помню, мы готовились к приезду гостей — шеф для пропаганды нового способа замыслил совещание, — работали в три смены. Я провел свою плавку накануне и утром, разгрузив шлаковню, пошел в институт. Подхожу к лаборатории, вдруг слышу злобный крик, несущийся из кабинета шефа:

— А ты где была?! Где ты шлялась, я спрашиваю?! Прозевать в такое время шлаковню! Бездельница! Ротозейка!

Дверь, будто от удара, распаивается, и вижу, как из кабинета выскакивает Гусарова. Втянув голову в плечи, она несется по коридору, и, словно стремясь нагнать ее, вырывается из дверей шеф.

Мутный, невидящий взгляд его утыкается в меня. Он круто поворачивается и вбегает в кабинет, изо всей силы ударив дверь.

Я стою, ничего не понимаю. Слышу дробный стук каблучков сбегавшей по лестнице Гусаровой и говорю себе: «За что?»... Потом кидаюсь к кабинету, дергаю за ручку: дверь заперта, за ней слышатся грузные, нервные шаги...

Впрочем, вскоре он сам мне позвонил. Глухо спросил про опыт и, не дослушав, слабым, больным голосом попросил найти и прислать к нему Ольгу Ивановну...

Я готов был забыть про этот случай, и все же осадок, оставшийся в душе, долго еще беспокоил меня...

О совещании, я думаю, тоже стоит рассказать, потому что именно оно открыло путь к успеху нашего предприятия...

Совещание состоялось в марте, у нас в институте. Большинство приглашенных из дальних краев, и в их энергичных жестах и деловой оживленности было то, что отличает инженеров с производства.

Подходит ко мне Роман, с добродушной улыбкой поправляет узел моего галстука и насмешливо спрашивает: — Представление начинается?

Удивленно таращу на него глаза:

— Почему представление?

— А разве существует предмет для серьезного разговора?— Он пожимает плечами и начинает втискивать свое крупное тело в свободный ряд, пробираясь поближе к окну.

Я недовольно хмурюсь и, пробравшись вслед за ним, сажусь рядом. Роман нацеливает очки на президиум. Директор, коренастый человек с белоснежно-седой головой, зачитывает, кто и откуда прибыл. В основном собрались металлурги и строители, но есть и агрономы. Директор предоставляет слово Фессеру.

Шеф, в черной парадной паре, импозантный, как министр, поднимается с кресла первого ряда, подходит к развешанным за трибуной цветным плакатам. Он окидывает зал широким, свободным взглядом и звучно, приподнято бросает первую фразу:

— Я хотел бы напомнить уважаемым коллегам слова выдающегося советского ученого, академика Бардина: «Шлаки — это вовсе не отходы, как привыкли их считать и как по инерции считают еще сейчас консервативные и нерадивые хозяйственники. Шлаки — это сотни миллионов рублей, это тысячи новых домов, это — база для дальнейшего строительства». А я,— тут шеф чуть приглушает свой звучный баритон,— беру на себя смелость прибавить, что шлаки к тому же еще и неиссякаемый, по существу, даровой стимулятор плодородия наших полей!

Шеф берет указку и, обращившись то к плакатам, то к залу, то к разложенным на столике образцам, начинает излагать теорию самораспада шлака...

Что и говорить, оратор он был классный. Взять меня: я столько раз все это слушал, что знал его теорию назубок,— но даже меня захватило это выступление. Его характерный, с бархатистыми оттенками, баритон как будто обволакивал слух. Энтузиазм и сдержанная страсть звучали в каждой фразе, и речь его лилась с такой неприужденностью, будто он выучил ее наизусть. В том-то и дело, старик, что это была импровизация!.. Но как он ее закончил!

— По данным ООН, в тысяча девятьсот восьмидесятом году на земном шаре вместо трех миллиардов населения будет проживать уже четыре, а к двухтысячному году — около шести! К этому времени большинство из существующих жилищ придется заменить новыми. Вряд ли

стоит говорить, какое колоссальное количество цемента потребуется для такой гигантской стройки! А между тем по крайней мере половину потребного цемента с успехом можно заменить шлаками ваших заводов, уважаемые металлурги!..

Шеф кладет указку на место и благодарит за внимание. Зал оглашается шумом оживления, и Роман, смеясь и покачивая головой, восклицает:

— Ну, Цицерон! Ну, артист!.. Прямо сказать, слушать его — огромное удовольствие...

Я сижу, молчу и улыбаюсь от сознания, что я — сотрудник, а может, и соратник этого необыкновенного человека.

Ответив на вопросы, Фессер садится, и тогда поднимается Нежевлев. Рассказывая о нашей работе в мартене, он говорит долго, гладко, будто читает скучную журнальную статью. Пытаясь блеснуть эрудицией, он то и дело уснащает свою речь металлургическими терминами, но, очевидно, невпопад, потому что зал отвечает ему шумом и смешками.

— Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник,— замечает по этому поводу Роман и печально закрывает глаза.

В перерыв мы выходим с ним в коридор, и Роман, шурясь насмешливо за стеклами очков, говорит:

— Слушай, а тебе не кажется, что в этой, так называемой теории Фессера есть нечто от лукавого?

Я снисходительно улыбаюсь его словам:

— Неужели ты до сих пор сомневаешься в ней?

— Мой принцип,— говорит,— может быть, и не совсем оригинальный,— сомневаться во всем...

Тут я начинаю заводитьсь:

— Да ты посмотри, как приняли его доклад специалисты, а ты...

Но он перебивает меня мягко и добродушно:

— Видишь ли, Леня... Фессер со своей теорией лезет в тот малоисследованный стык двух наук, который как следует не знают ни силикатчики, ни металлурги, а посему...

Я не даю ему договорить и бью Романа его же оружием:

— Ты же сам говорил, что в наше время открытия как раз и делаются на стыке двух наук!

— Верно,— соглашается Роман.— Только знаешь... есть такая восточная пословица: «Из яйца получается цыпленок, когда не спешат». ...Ну, ладно...— он дружески тычет меня в плечо,— пока. Меня работа ждет.— И двигает на выход, сутулясь и мягко переваливаясь...

Честно говоря, Роман все же заронил в меня искру сомнения. Но когда я вернулся в зал, где шли оживленные и одобрительные прения и где приняли резолюцию: «Опробовать способ самоизмельчения мартеновского шлака на всех заводах Урала», сомнения мои развеялись как дым. А когда на следующий день я привез гостей на завод и показал крошащиеся в порошок шлаковые глыбы, то, глядя на восторженно блестящие глаза экскурсантов, насмешливо подумал: «Роман Борисович, может, и светлая голова, но то, что он заядлый скептик, это уж определено»...

И все же совещание было лишь прелюдией успеха. Настоящий успех пришел позднее, в апреле...

Отлично помню этот день... Мы сидим, работаем. Мы — это Роман, Нежевлевы и я. Вдруг распахивается дверь, в комнату врывается Фессер. Он улыбается, блескает очками и размахивает газетой:

— Читали? Москва о нас пишет!— Подходит, бросает газету мне на стол и, полуобняв меня за плечи, тычет мундштуком трубки в подвальную рубрику:— Вот!

Читаю:

— «Чудодейственные шлаки»! — Я поднимаю сияющие глаза на коллег.

Но мой энтузиазм разделяет только Майя — она мне поощрительно улыбается, да и то улыбка ее кажется какой-то преувеличенной. Нежевлев, сморщив узкий лоб, изображает мину, которая как будто говорит: мол, эка невидаль, статья в газете. А на лице Романа добрая усмешка взрослого, взирающего на восторг детей.

Вдруг шеф отстраняется от меня и быстро спрашивает:

— А где Оля?

— Так ведь она же сегодня на заводе, вместе со Сперантовой.

— А, да...— Шеф успокоенно кивает.— Пусть заглянет ко мне, когда вернется.— И быстро уходит, посасывая трубку.

— Жить без нее не может,— вздыхает Майя, насмешливый взгляд ее встречается с таким же взглядом мужа.

— Так что же ты... Давай читай,— добродушно ворчит мне Роман, рассматривая что-то в микроскоп.

Майя, одарив меня вежливой улыбкой, тоже просит:

— Правда, читайте вслух.

— «Поучительна история рождения этого замечательного способа. На ее примере воочию видны результаты приближения науки к производству. Прямо скажем, если бы такая идея родилась в стенах какого-нибудь столичного института, то едва ли так быстро, всего за несколько месяцев, она воплотилась бы в практическое дело. Когда группа энтузиастов Уральского института строительных материалов — руководитель лаборатории Фессер, инженеры Нежевлевы, Гусарова, Вересов, Сперантова и другие — занялась разработкой способа самоизмельчения мартеновского шлака, ей недолго пришлось сидеть за пробирками и колбами. Руководители института Голосов и Выюгин предоставили ученым, что называется, оперативный простор. Они сумели зажечь новой идеей специалистов металлургических заводов Урала. Уже проведены промышленные опыты на одном из предприятий города. Словно по мановению волшебной палочки ни на что не годный ранее шлаковый камень превращается в цемент и удобрение. Порошковый шлак воистину достоин поэм!..»

Закончив «декламацию», смотрю на коллег, жду восторгов, но восторгов нет. Нежевлев со скучающим видом закуривает папиросу. Роман не отрывает глаз от окуляра микроскопа.

— Все-таки Фессер несправим,— скосив глаза на мужа, говорит Майя.— Повторяется та же самая история... Опыты проведены лишь на одном заводе, а он трубит о победе в золотые трубы.

И тут, старик, я почувствовал обиду за шефа.

— Да бросьте вы, Майя Аркадьевна,— не очень-то вежливо вмешиваюсь я в разговор,— во-первых, трубит не Фессер, а газета. Во-вторых, что плохого, если о наших работах узнает больше людей? Быстрее начнется внедрение...

Но вместо Майи отвечает Нежевлев... Вижу, как странно напрягаются его большие, навывкате, глаза, нацеленные на меня, как скользкая усмешка стирает на мгно-

вание бесхитростное выражение его лица... и, тут же улынувшись, он говорит небрежно-дружески:

— Зря вы спорите, Леонид Александрович... Статью в газету подготовил шеф, он сам мне об этом сказал. Автор — его старый московский приятель... Так что, между нами говоря, все это — чистейшая самореклама...

Вдруг непонятное раздражение охватывает меня:

— Ну пусть, пусть реклама! Что из этого? Здесь ведь правду написали? Правду! Так в чем дело? Да я с кем угодно спорить готов, что... ну, может быть, не везде, но на Урале все мартеновские шлаки посыплутся: химический-то состав у них одинаковый!

Отложив наконец зеркальце, Майя легонечко, с улыбкой, срезает меня фразой:

— Убеждение — слишком субъективная категория, чтобы она что-то значила в науке.

И тут... я растерялся, старик! Смотрю на Романа, жду, что он вмешается, скажет что-нибудь. Но он... словно прилип к своему микроскопу.

— Ладно,— с улыбкой вдруг снисходит Майя,— будем надеяться, что ожидания Леонида Александровича оправдаются и нам будет сопутствовать успех.

Настроение мое было испорчено, факт. И все же, уходя на обеденный перерыв, спрашиваю:

— В киоск хочу забежать... Кому сколько газет купить?

Вижу, на физиономии Нежевлева появляется желание что-то сказать, но жена упреждает его:

— Спасибо. Мы же выписываем.

«Ну и черт с вами!» — думаю.

— Леня! — слышу сзади. Оглядываюсь — Роман.

— Зря ерепенишься,— берет меня под руку Роман.— Я не особенно симпатизирую этой супружеской паре, но в данном случае я с ними вполне согласен...

Я толкую:

— Но ведь идея Фессера — это действительно сила, пойми!

— Может быть,— соглашается Роман.— Но ведь вы, по существу, не провели никаких лабораторных исследований, а думаете, что бога ухватили за бороду. Ты знаешь нашего Лискина?

— А,— вспоминаю,— лауреата?

— Ну вот,— говорит,— до Лискина арматурную сталь

упрочняли при помощи громоздких термических печей. А он того же самого эффекта добился, применив обыкновенный сварочный трансформатор, за счет тепла Джоуля. Разве не идея? Только он не стал кричать и бить себя кулаком в грудь, собирать совещания, требовать для своей лаборатории привилегий. Ничего подобного. Три года отработывал он свой способ на лабораторном стенде и еще столько же потратил на доводку в промышленных условиях. А шеф сделал пока на копейку, а кричит на рубль!

Заметив мое несогласие, Роман шлепнул меня по спине:

— Ну, ладно... Мне сюда.— И нырнул в буфет.

«Завидуют они, что ли, шефу?» — с досадой думал я. Представил, как обрадуется моя камышинская тетка, прочитав фамилию племянника в газете, и как удивится Наташа; что там говорить — не думать о ней я не мог...

Газеты я купил в киоске на проспекте, но, прежде чем вернуться в институт, заглянул в магазин «Книги». Я на минутку туда заскочил, а прокопался с полчаса. На обратном пути иду и вдруг вижу широкую спину Нежевлевса у киоска «Союзпечати»: запихивает во внутренний карман плаща газетную скрутку. Нет, старик, я не был уверен, что он купил именно те газеты, но, честно говоря, подумал об этом...

Захожу в институтский буфет — народу тьма. «А-а,— думаю,— все равно не успею поесть». Поднимаюсь в лабораторию и вижу в дверях кабинета массивную фигуру шефа с бутылкой кефира в руке.

— Перекусил?— спрашивает шеф.

— Нет,— говорю,— пробежал за газетами...

— Заходи,— шеф пропускает меня в кабинет и кивает на журнальный столик. Там бутылка кефира, ломти свежей колбасы, разорванный батон.— Садись, поешь...

Делаю себе бутерброд и с аппетитом наворачиваю, запивая вязким, холодным кефиром. Стены кабинета пестрят от новеньких плакатов. Они иллюстрируют технологию самораспада. Письменный стол, как всегда, завален книгами, подшивками журналов. Шеф ежедневно пачками относил в библиотеку просмотренную литературу и приносил другие материалы. По этому поводу

он сказал однажды: «Изводишь единого слова, мысли ради тысячи тонн словесной руды» — это не только в поэзии, но и в науке».

— Как, здорово нас в газете расписали? — улыбается шеф.

Он рассказывает по кабинету, жует и прихлебывает кефир прямо из бутылки.

Тут я и спросил его:

— А этот автор статьи, он вам знаком?

— Да, — говорит, — Леня, мир не без добрых людей. Если бы не этот мой друг, материал пролежал бы в редакции черт знает сколько. — Он останавливается напротив и смотрит на меня с широкой, благодушной улыбкой. — Голосов сказал, что нашу работу будут выдвигать на соискание премии.

Я удивленно и обрадованно смотрю на него, а он рокочет:

— Дело тут, конечно, не в премии, не в деньгах. Важно вот что... — И, лукаво прищурив глаз, очерчивает пальцем кружочек на лацкане своего пиджака, — приятно все-таки... — Он отходит к дверям и, прислушавшись к чему-то в коридоре, продолжает: — Я доволен тобой, Леня. Я подал Голосову рапорт о переводе тебя в старшие сотрудники.

Я говорю:

— Спасибо, Лев Андренч...

Слышу: в коридоре раздается стук женских каблучков. Фессер тут же оборачивается на этот звук и кричит с порога:

— Оля?! Ну, как дела? Ты обедала?

— Ой, какой там обед, — отвечает устало Гусарова. — Я вон какая красивая. Вся в пыли, в грязи с этим шлаком...

— Ты слышала? О нас Москва написала!

— Ага, мне сейчас Майя сказала. Правда, с ехидненькой улыбочкой...

— Ну, приведешь себя в порядок, заходи...

Я поднимаюсь, иду к дверям.

— Спасибо, — говорю.

— Поторопись с расчетом скорости распада, — говорит шеф. — А кончишь, садись с Нежевлевым за статью. — И поощрительно мне подмигивает: — Это будет твой личный вклад в наше дело...

Если ты помнишь, десятое апреля — день моего рождения... Решил я отметить это событие дома и пригласил Романа, а тот спрашивает:

— Почему бы тебе не позвать шефа?.. В чем-то я с ним не согласен, но признаю: человек он интересный...

— Да что ты, — говорю, — разве он пойдет...

— А ты предложи...

— Попробую..

К моему удивлению, шеф принял приглашение сразу.

— Только знаешь, — говорит, — пригласи еще Ольгу Ивановну. Она ведь одинока, ей будет приятно...

Конечно, я позвал и Гусарову.

И вот мы с Романом ходим в нетерпении вокруг накрытого стола, смотрим на часы и ждем гостей. Наконец, уже часу в девятом, звонит звонок. Открываю — шеф! Мне показалось, что он уже слегка «на взводе», но держится молодцом. Глаза его сияют благодушием, и сразу на душе моей становится легко и свободно.

Фессер ставит в угол трость и, раздеваясь, спрашивает:

— Оля уже здесь?..

И тут опять звонит звонок. Я кидаюсь открывать и вижу Гусарову.

Кокетливо улыбаясь мне, она говорит:

— Добрый вечер... А это вам. — И протягивает мне альбом репродукций Пикассо. — Кажется, я заставила себя ждать?

— Давай-давай, раздевайся, — шутливо ворчит на нее шеф.

Я помогаю ей, и мы все трое входим в комнату.

Взглянув на стол, Гусарова произносит:

— Никогда бы не подумала, что стол накрывали мужчины!

Роман значительно вскидывает брови, довольно улыбается: это он сервировал стол: коньяк, шампанское, шпроты с лимоном, парниковые огурчики в сметане, даже тушенная баранина в судке, которую я приволок из ресторана. Я поднимаю крышку судка — и вверх взлетает облачко душистого пара.

Роман уже разлил шампанское, и оно искрится

в высоких бокалах. Шеф поднимает тост за здоровье «новорожденного».

Мы с Романом сидим на диване, а шеф и Гусарова — напротив. И тут шеф говорит:

— Хорошая новость, ребята! Сегодня звонили из Комитета по делам изобретений, нашу заявку предлагают переоформить на патент: несколько зарубежных фирм из Японии, Англии и ФРГ заинтересовались нашим способом самораспада...— Заметив, как блеснули мои глаза, говорит:— Вполне вероятно, Леня, что тебе придется поехать за границу, консультантом. Ты бы куда хотел?

— В Англию, Лев Андрейч,— отвечаю.— Я английский изучал.

— Так-то что не жить,— с нарочитой завистью вздыхает Роман, разливая по рюмкам коньяк.

— Да-а, в счастливое время живете, ребята,— задумчиво рокошет шеф.— Эх, мне бы ваши годы!

— Надеюсь, Ольга Ивановна тоже разделяет наши радости?— улыбается Роман.

Шеф делает утвердительный жест, и на смуглом лице Гусаровой мелькает смущенная улыбка.

— За будущих лауреатов!— возглашает Роман.

Шеф рассказывает скабрёзный, но смешной анекдот. Мы с Романом хохочем, а Гусарова робким взглядом пытается усовестить шефа. Поймав ее взгляд, он говорит:

— Для меня не существует приличных или неприличных анекдотов. Анекдот может быть только острым или неострым.

— Точно!— поддакивает Роман.

По этому поводу мы выпиваем по одной. Шеф впечатывает опустевшую рюмку в стол и довольно крикает:

— А! Как говаривали древние греки, кто пьет вино, тот не знает о его вреде, а кто не пьет — не знает о его пользе.

Похоже, что он уже захмелел: лицо у него красное, грузное тело утратило покой. Скрипя стулом, он то облокачивается на стол, то откидывается на спинку, то закуривает, то откладывает трубку в пепельницу.

— Слаб я, однако, стал, ребята,— вздыхает шеф.

Мне вдруг становится грустно, и я прошу:

— Роман, спой что-нибудь...

Гусарова спрашивает удивленно:

— Так вы поете? Спойте, правда...

Пошарив рукой за диваном, Роман достает принесенную гитару, кладет ее на колено и несколько мгновений молчит. На его добродушной физиономии появляется строгое, задумчивое выражение, и, прежде чем начать, он поясняет:

— Этой песне научил меня один фронтовик...

Он начинает петь, и лицо его подергивается грустью:

Спи-и, моя-а На-аташа-а,
Ты всех милей и кра-аше,
Пусть тебе приснится
Белый со-он в сте-епи-и...

Поет негромко, больше чувством, чем голосом, и словам и мотиву вторит выразительной, грустной мимикой:

...Над твоею маленькой кроватью
Не гудит проклятый «мессершмитт»...

Я смотрю на Фессера: шеф, навалившись грудью на стол и свесив тяжелую голову, плачет; а глаза Гусаровой становятся печальными и ласковыми...

А Роман поет и ритмично вызванивает:

Пусть тебе-е присни-ится
Голубая птица...
Спи, моя Наташа-а,
Спи, Наташа-а, спи...

— Рома, еще,— просит шеф размягченным голосом и, когда Роман повторяет, пробует подпеть:

Спи-и, моя-а На-аташа-а,
Ты всех милей и кра-аше...

Кончив, Роман отставляет гитару в угол и с улыбкой смотрит на шефа.

— Мировой у тебя друг, Леня,— говорит шеф, снимая очки и утирая глаза и щеки.

— А что-нибудь веселенькое можете сыграть?— виновато улыбнувшись, спрашивает Гусарова.

Я поднимаюсь, говорю:

— Сейчас будет джаз...

Включаю проигрыватель на тумбочке, ставлю пластинку. Роман встает и приглашает на танго Ольгу. А мы с шефом выпиваем еще по рюмке. Я вспоминаю Наташу, и острая грусть заползает мне в сердце... Вдруг вижу: Фессер встает и шагает к Гусаровой. Роман тотчас уступает ему даму. Лицо у шефа красное, и танцует он пошатываясь. Роман сидит, молчит, добродушно улыбается и смотрит на танцующих... А шеф все топчется, с тяжелой неловкостью, в быстром фокстроте. Грохот джаза внезапно обрывается. Ольга смущенно отстраняется от шефа и выходит в коридор собираться. Шеф плетется следом. Мы с Романом предлагаем их проводить, но шеф неожиданно гневается:

— За кого вы меня принимаете? Разве я не способен проводить даму? Роман! — орет шеф, выходя на лестничную площадку и размахивая тростью. — Ты еще споешь «Наташу»?

— Конечно, — улыбается Роман.

Наконец распростились.

— Хороший он все же мужик, — говорю Роману.

— Да, — соглашается Роман.

Мы садимся за стол, выпиваем по последней коньяку, и тут — нашел на меня такой стих — рассказал я ему о Наташе...

Он ничего мне не ответил, а потом, когда я вышел проводить его к троллейбусной остановке, говорит:

— Вероятно, за такую девушку драться нужно...

А я подумал грустно: «Легко сказать, драться»...

И все-таки, старик, решил я...

Буквально на следующий день пришла в наш город поздняя уральская весна. Уже давно с утра и до вечера светило чистое, налитое весенней яркостью солнце, осел и днем покрывался испариной рыхлый, темнеющий снег во дворах, давно уже пахло весной, но настоящая весна пришла в тот день. Зазвенели ручьи, зеркалами засверкали лужи на мокром асфальте, и, разбивая эти зеркала, в каскадах сверкающих брызг, с забрызганными грязью кузовами, мчались машины.

Когда я шел по улице, радостно вдыхая теплый, словно бы парной, весенний воздух, — таким вдруг не-

значительным, мелким и ненастоящим показалось мне все, что лишь вчера тревожило меня, что, вспомнив о Наташе, я подумал, как, в сущности, вздорны все мои обиды на нее. Рассмеявшись про себя, я решил сейчас же ей позвонить...

Вбегаю в вестибюль института, ныряю в кабину автомата, набираю номер кафедры химии. Мне отвечает мужской голос, я прошу к телефону Наташу. Через минуту слышу ее голос:

— Да-а...

Я весело ору:

— Здравствуйте, Наташа! Это Леонид...

— Здравствуйте...

— Вы свободны сегодня, я хотел вас в кино пригласить.

Пауза, а я жду и волнуюсь как мальчишка.

— Это для меня как снег на голову...

— В «России» идут «Приключения Макса Линдера». Вы видели?— спрашиваю.

— Нет...

— Так вы согласны?

— Дайте подумать.

— Думайте,— говорю,— только от телефона не уходите.

Она рассмеялась и говорит:

— Но ведь на «Линдера» невозможно билетов достать.

— Считайте, что они у вас в кармане,— говорю.— Так как?

— Уговорили,— отвечает, и чувствую в голосе ее улыбку.— Ждите меня во дворе, в половине седьмого...

Этот рабочий день был самым длинным днем в моей жизни. Он запомнился мне как одно непрерывное ожидание. В обед, предупредив Нежевлева, что задержусь, я помчался в «Россию»...

В половине седьмого я был уже на месте. Стою у подъезда, жду и волнуюсь. Вот стукнула дверь вверх. Простучали по лестнице каблучки, из подъезда легко выскакивает Наташа в светлом пальто. И первым делом спрашивает:

— А билеты?

Небрежным жестом выдергиваю из кармана пиджака билеты:

— Пожалуйста...

— Какой вы предприимчивый,— говорит она с веселой усмешкой.

Рассмеявшись, я неожиданно для самого себя беру ее под руку. И чувствую вдруг легкое ответное пожатие ее локтя. Но я не удивился даже: в этот день мне все казалось возможным.

Скосив на меня веселые глаза, она говорит:

— О вас уже и в газетах пишут...

Я смущенно киваю. Мне приятно, что она прочитала статью.

Идем и видим: посреди двора в огромной луже трое пацанов в промокших до колен штанах пускают желтый заводной баркастик. Пацаны бестолково суетятся, и двор наполняется звонкими криками. Наташа останавливается, несколько минут наблюдает их возню. Она улыбается, и на щеках ее проступают симпатичные ямочки. Потом мы выходим на проспект. Полупросохший асфальт в крупных, влажных пятнах. Впереди, над багряной полосой заката, как дым от гигантского парохода, тянутся крутые, розоватые облака.

Я вдруг спрашиваю:

— А вам не попадет, что вы пошли со мной?

Она пожимает плечами:

— Странно? От кого же?

— Как же,— говорю,— мне кажется, этот... Вадим имеет на вас какие-то права...

— Права?— она усмехается.— Просто мы с ним близкие друзья и давние.

— Не больше?

— В прошлом году он мне сделал предложение.

— И вы, конечно, его приняли?

— Да, но вскоре у нас умерла бабушка, свадьбу пришлось отложить.

— Ну вот, видите,— говорю я с горькой улыбкой.

— Ну и что?— спрашивает.

— Как же «что»?..

— Во всяком случае, я не чувствую себя обязанной отчитываться в каждом своем шаге.

Спрашиваю:

— А кто он, ваш Вадим?

— Горный инженер, учится в Политехническом на факультете повышения квалификации.

— Вы любите его?— вдруг вырывается у меня вопрос, который мучил меня.

— Я сама еще в себе не разобралась,— говорит она задумчиво и неуверенно.— Он так ко мне относится, что иногда мне кажется, что да...

А я обрадованно думаю: «Раз сомневается, значит, не любит».

Она задумчиво продолжает:

— Но иногда мне кажется, что, случись мне встретить человека... ну, такого, за которым, как говорят, можно пойти хоть на край света, пожалуй, я бы пошла за ним... Однажды мне встретился такой парень. Но тогда я струсилась... Я была совсем еще девчонкой...

Мы сворачиваем за угол. Впереди сияет огнями стеклянный куб кинотеатра под длинным козырьком. К нам устремляются справа и слева. С надеждой заглядывают в глаза:

— Нет ли лишнего билетика?

Потом мы смотрели фильм, вместе со всеми хохотали над озорными трюками Линдера, и, когда Наташа произвольно сжимала мою руку своей горячей, нежной рукой, сердце мое радостно вздрагивало...

Фильм кончился до обидного скоро. Вспыхнул свет, загремели откидные сиденья. Все потянулись к выходу.

Вышли на освещенный проспект, Наташа и говорит:

— Давайте в скверик зайдем...

Свернули к скверу. Здесь, среди густого кружева ветвей, гуляли по аллеям и сидели на скамейках парочки. В тихом, теплом воздухе приглушенно звучали голоса. Садимся на свободную скамейку. Слева, из густых, белесых облаков, вынырнула круглая луна и, перебивая огни фонарей, обдала пространство сквера ясным, серебристым светом.

— Как ленинградская белая ночь,— говорит Наташа.

Несколько минут сидим молча, потом она спрашивает:

— Как у вас с английским? Подвигается?

— Да так,— говорю,— слабовато.

— А у меня с произношением не ладится.— И, положив свою руку на мою, говорит:— А может, нам вместе готовиться?

— С удовольствием,— говорю,— Только я вряд ли смогу помочь вам.

— Но вы согласны?

— Конечно!

Она говорит:

— Вдвоем все же лучше готовиться, правда? Может, завтра и начнём?

— А где?— спрашиваю.

— Да хоть у нас дома,— говорит.— Приходите сразу после работы. Хорошо?

Сам понимаешь, старик, в ту минуту я чувствовал себя на седьмом небе...

Потом я ее проводил. Идем по проспекту, Наташа и говорит:

— Странно, почему это так? Ты, положим, знаешь человека и думаешь, что знаешь достаточно. И вдруг иногда тебе кажется, что ты его совсем не знаешь, даже не можешь сказать, хороший он или плохой... У вас такого не бывает?

Подумав, что она имеет в виду Вадима, я говорю шутливо:

— Что касается девушек, у них есть верное средство узнать того, с кем дружат...

— Ну-ка?— спрашивает.

— Вы «Подросток» Достоевского читали?— спрашиваю.

— Нет,— говорит.

А я увлекался тогда Достоевским.

— Достоевский,— говорю,— дает такой совет молодым девушкам. Прежде чем выходить замуж, нужно обратить внимание на то, как смеется ваш избранник. Хорошим смехом смеются только хорошие люди. Правда, сначала нужно научиться подмечать оттенки смеха. Как бы заразительно и откровенно ни смеялся человек, но если, к примеру, вы услышите в его смехе хитрость, то он наверняка хитрец, хотя и представляется вам простаком...

— Да,— говорит,— только Достоевский, по-моему, одного не учел: если нравится человек, то и смех его нравится...

Я смеюсь:

— Могу предложить свой способ!

— Интересно...

— Того, в ком сомневаетесь, нужно хотя бы раз увидеть выпивши.

— Ну уж,— смеется Наташа.— Лучше способ Достоевского. Пьяных я не терплю.

Несколько минут идем молча. В темном небе тесно от звезд. Круглым, одиноким фонарем висит над городом луна. Урча моторами, шмыгают мимо легковушки, проливая на асфальт желтоватый свет и тут же закрывая его низким кузовом.

— Наташа, а вы не хотите на озеро поехать, раков половить? В мае, говорят, здесь урожай на раков. Возьмем палатку, с ночевкой бы куда-нибудь махнуть. Как вы?

Она соглашается:

— Хорошо, если будет тепло, можно будет поехать на озеро Собновое. Это два часа на электричке.

— А вы не будете возражать, если с нами поедет мой товарищ Роман? Он прекрасно играет на гитаре и вообще — парень что надо...

— С удовольствием.

Мы входим во двор.

— Смотрите, луна плавает!— восхищается Наташа.

Смотрю, и верно: в отстоявшейся луже плавает желтая луна.

У подъезда, прощаясь, я чуть-чуть задержал ее руку в своей. Она посмотрела на меня, улыбнулась и, осторожно высвободив руку, ушла...

Два-три вечера в неделю я проводил теперь с Наташей. Иногда ей не хотелось заниматься, и мы шли в кино, в театр или просто гуляли. Конечно, скоро мы перешли на «ты». Мне казалось, что в ее отношении ко мне что-то большее, чем дружба. Ее улыбки, взгляды убеждали меня в этом. И тогда я верил, что рано или поздно добьюсь взаимности. Но когда беспечным тоном она говорила, что завтра наша встреча отменяется, потому что они с Вадимом идут в филармонию, или принималась рассказывать, как они отдыхали прошлым летом на даче и как предупредителен и чуток был к ней Вадим,— я терялся, мучился сомнениями и ревнивой обидой. Как и в дружбе, в любви я считаю главным взаимную преданность. Сам я, влюбившись

в Наташу, знал, что это — навсегда. И не понимал, да и сейчас не понимаю, как это можно, любя одного, морочить голову другому...

Единственным утешением для меня было то, что мать Наташи недолюбливала этого Вадима, я это чувствовал. Меня удивляло, что нашла в нем Наташа. «Пижон он,— говорил я себе,— и больше никто.— И, вспоминая, как он шлепнул Наташу, добавлял:— И нахал к тому же...»

Но, как бы там ни было, Вадим имел передо мной одно неоспоримое преимущество: он считался Наташиным женихом, и они продолжали встречаться. Двусмысленность моего положения мучила меня, сердиться на Наташу я не мог. Оставалось ждать, ждать и надеяться. Однажды мне показалось, что что-то в наших отношениях сдвинулось в мою пользу. Обыкновенно очень сдержанная, она вдруг посмотрела на меня долгим, особенным взглядом и сказала:

— Какие у тебя глаза, Леня...

Я не понял.

— Какие?

— Добрые-добрые...

Я рассмеялся и покраснел. А когда пришел домой, посмотрел на себя в зеркало... Ну, где мне тягаться с Вадимом! И все-таки мне был приятен Наташин комплимент. Впрочем, на следующий же день она огоршила меня:

— Леня, хочешь я тебя с подругой познакомлю? Умная, симпатичная, тебе непременно понравится.— А у самой в глазах насмешливые огоньки.

Скрывая обиду, я сказал:

— Познакомь...

С Ириной, вертлявой хохотушкой и болтуньей, она познакомила меня на Майские праздники, пригласив и меня и ее на праздничный мамин пирог. В Ирине я ничего не нашел: ни ума, ни симпатии.

В самом конце мая договорились поехать на озеро.

— А Ирочку возьмем с собой?— спросила Наташа с этакой ехидненькой улыбочкой.

Я равнодушно пожал плечами:

— Как хочешь.

Она спросила:

— Когда отправляемся?

— В субботу, с утра...

И вот, обвешанные рюкзаками и с гитарой, мы ждем ее с Романом у пригородных касс. Едва увидев среди спящей публики Наташу в синем спортивном костюме, я толкаю Романа плечом и говорю, показывая на нее глазами:

— Вот она!

— Мила... Очень даже мила,— одобрительно бормочет Роман, и я спешу к ней навстречу.

Снимаю с нее рюкзак, подвожу к Роману:

— Знакомьтесь, Наташа... Роман...

Роман галантно кланяется и пожимает протянутую руку.

— Так ты одна?— спрашиваю я Наташу.

— Да, Ира не смогла поехать.

— Чудесно,— улыбается Роман.— Значит, поедем вдвоем.

Мы направляемся к электричке, выбираем свободное купе, заталкиваем рюкзаки под лавки, садимся, я рядом с Наташей, а Роман — напротив, с гитарой на коленях. Через несколько минут поезд трогается, и Роман, меланхолично улыбнувшись нам, трогает струны и тихонько начинает:

А я еду, а я еду
За туманом...

И мы с Наташей весело подхватываем:

За туманом и за запахом
Тайги...

Короче, всю дорогу мы пропели... На нас оглядывались, поощрительно улыбались. Мы даже не заметили, как пролетели два часа.

Наконец Сосновая. По-быстрому выгружаемся, надеваем рюкзаки и идем в глубину сосново-березового леса. Кругом тишина, пахнет сочной хвоей и еще чем-то неуловимо тонким и свежим. Со всех сторон плывет разноголосое пенье птиц. То слышится какой-то переливчатый посвист, то будто плач младенца, то вдруг зальется серебристой трелью птаха, и, все перекрывая, прошивает лесное пространство глубокое кукованье кукушки. Время от времени Наташа прислушивается к этим звукам и говорит:

— Дрозд-белобровик... А это — пеночка...

— А это что за разбойник, словно калиткой скрипит?— спрашивает Роман, и Наташа объясняет:

— Пеночка-трещотка... Слышите, как печально: пии, пии...

— Благодать,— вздыхает Роман.

Но вот вышли к озеру Сосновому. Оно огромно, как морской залив. Спокойно поблескивает голубоватая гладь воды у ближнего берега, а далее, за серединой, оранжевым глянец разливаается по зеркалу воды солнечный свет. По-над берегом, у самой воды, толпятся корабельные сосны, они словно слушают озерную тишь. А другой берег опоясывает рыжеватая чаща камыша. За камышом нежно зеленеет поле.

— Ну как? — спрашивает Наташа, и на лице ее восторг.— Посмотрите, какая вода!— кричит она через минуту, сбегая по тропинке к озеру.

Мы с Романом складываем рюкзаки и гитару под сосной, спускаемся к Наташе. Она стоит на огромном валуне, выступающем из воды, и смотрит в озеро. Его вода — хрустальной чистоты, и сквозь нее, на несколько метров вперед, виднеются песчинки на дне и даже тень от гальки. Наташа садится на корточки и мягким движением кладет свою ладонь на озерную гладь. Гладь вздрагивает, и от розовой Наташиной ладони разбегаются круги.

— Ой, холодная!— Наташа отдергивает руку. С кончиков пальцев ее, срываясь, падают крупные, прозрачные капли...

Мы умываемся студеной озерной водой, и я командую:

— Форма одежды пляжная! И — за дело! Мы с Романом разбиваем палатку, Наташа собирает хворост для костра. Есть возражения?

Возражений нет, и мы приступаем к делу. Раздевшись, мы с Романом вырубам и затесываем колья, возмемся с палаткой. Признаюсь, старик, я нет-нет да поглядываю на Наташу...

Как сейчас вижу: вот она в своем тугом в зеленый горошек купальнике подтаскивает хворост, и все мне кажется необыкновенным в этой девчонке. Когда, слегка сутулясь, чуть приседая от колкой тропинки, она проносит охапку хвороста, в ее походке что-то тро-

гательно-детское; беззащитное. Поймав мой взгляд, она вдруг смущенно улыбается, как будто не она сама, а ее неприкрытая загаром кожа стесняется меня...

Но вот мы натягиваем палатку и, захватив удочки, идем рыбачить; Наташа остается загорать. Клев неважный, но часа через два на кукане уже висит пяток серебристых чебаков, и Роман говорит, что на уху вполне хватит. Возвращаемся и видим: у палатки жарко полыхает костер и рыжее пламя лижет копченое днище котелка, подвешенного на треногу. Наташа, расстелив на траве старенькое байковое одеяло и поверх него — газеты, хлопчет у «стола».

Очистив чебаков, мы бросаем их в кипяток, а пока решаем выкупаться, потому что солнце припекает основательно. Находим небольшой обрывчик и почти одновременно кидаемся вниз, разбив озерную тишину двойным тяжелым всплеском. Нырнул и чувствую: мгновенным холодом ожгло все тело, перехватило дыхание, заломило ноги. Выкидываю тело вверх и, широко дыша, гребу к берегу. Выскакиваю на песок, с ожесточением принимаюсь растирать занемевшие ноги. Следом с криком выскакивает на берег Роман, весь малиновый от студеной воды, и оглушительно хохочет:

— Ну и водичка! Хороша-а-а!..

У костра, закрыв лицо рукой, смеется над нами Наташа.

Потом мы хлебали горячую душистую уху, пели песни, играли в «дурачка». А когда спустились сумерки и в далеком небе замерцали редкие звезды, стали собираться за раками. Надели спортивные костюмы, накрутили на ноги портянки, обулись в резиновые сапоги и, захватив фонарь, пошли.

Спускаемся к воде. Где-то справа, в просвете деревьев, светит красный огонь чужого костра, в тишине разносится песня и взрываются смехом крепкие мужские голоса. Шагаем в воду. Роман включает фонарь, яркое пятно света падает возле коряги, высветив из озерного мрака песчаное дно. Из-за плеча Романа выглядывает настороженное лицо Наташи, в руке у нее ведро. На освещенном дне вижу россыпь небольших сероватых комков — раки. Приседаю, выхватываю их из воды и одного за другим кидаю в ведро. Вдруг боль-

шущий рак шлепается мимо ведра на голую Наташину ногу. Она испуганно взвизгивает.

Я шутливо ворчу:

— Тихо! Раков распугаешь...

Целый час бродим вдоль берега. К костру возвращаемся с полным ведром. Потом варим раков и садимся ужинать. Это было здорово, старик,— сидеть у костра, пить из кружки терпкий, прохладный портвейн и, ломая хрупкий панцирь раковых шеек, жевать розоватую, сочную мякоть. А за спиной сгущается мгла, таинственно темнеют впереди высокие сосны, и влажный ветерок с притихшего озера мешается с дымом костра... Мы еще долго сидим у огня, смотрим в пурпур раскаленных углей, подернутых седоватой золой, поем под гитарный перезвон туристские песни, и голова Романа в отсвете костра кажется мне отлитой из красной меди...

Потом, взглянув на часы, я поднимаюсь и спрашиваю:

— А вы, станишники, восход смотреть собираетесь?

— Ой, конечно,— вспоминает о восходе Наташа.

Я командую:

— Тогда — шагом марш в палатку! Подъем в четыре.

Умываемся на сон грядущий, забираемся в палатку и ложимся, я посредине, а Роман и Наташа, укрытая байковым одеялом, по краям.

Немного погодя, Наташа говорит:

— Нет, ребята, я так просто не усну... Я вот думаю: посмотришь на эту красоту, на звезды в небе, на озеро, на древние сосны, и жить хочется бесконечно. Но ведь придет смерть, все кончится для тебя — и такая вдруг жуть возьмет!..

— Почему у вас такие мрачные мысли, Наташа? — подает свой голос Роман.

— Почему мрачные? — говорю. — Самые обыкновенные. Меня они тоже тревожат.

— Видишь ли, — зашевелился Роман, — Эпикур называл глупцами тех, кого ужасает мысль о смерти. Ведь пока существуем мы, смерти нет, а когда она придет, нас не будет. Так о чем речь?..

— А может, люди боятся не смерти, а самого процесса умирания? — высказываю я свою догадку.

— Как сказать?— отвечает Роман.— Во время иных болезней человек претерпевает большие страдания... Фейербах даже утверждает, что дряхлому старцу умирание доставляет наслаждение, как погружение в сон уставшему человеку...

Я усмехаюсь:

— Ничего себе, наслаждение...

— Ну, хорошо,— опять начинает Наташа.— Пусть так: смерти бояться не следует. Но если все рано или поздно кончится смертью, то для чего все это: люди, природа, мир? Какой во всем этом смысл?

А Роман говорит:

— Искать смысл существования мира, Наташа, это все равно что спрашивать, откуда он взялся и кто ему дал первый толчок. Разве природа с ее вечностью не есть сама по себе великий, прекрасный смысл?

— Ну, а человек?— спрашиваю.— В чем смысл его жизни?

— Неужели ты не знаешь, для чего ты живешь?— спрашивает Роман, и я угадываю улыбку в его вопросе.

— Представь себе, не совсем...

Помолчав, Роман отвечает:

— Одни живут для денег, другие — для чинов, третьи — для идеи. Выбирай, что тебе нравится...

— А вы?— спрашивает Наташа.— В чем вы, Роман, видите смысл жизни?

— В том, чтобы искать и находить истину... Этим-то и прельщает меня наука. Если бы мне пришлось умирать, я прежде всего подумал бы: что я оставляю людям? И если оно значительно, полезно, никакого страха я бы не почувствовал, уверен в этом... Другое дело — смерть сейчас, когда ничего не сделано...

— Слишком уж все у вас по полочкам разложено,— вздыхает Наташа.

— Так ведь я никому и не навязываю своих взглядов,— миролюбиво отвечает Роман; но я чувствую легкую обиду в его голосе и говорю:

— Давайте-ка спать, ребята!

Но сам не сплю и краем глаза вижу Наташу, свернувшуюся калачиком под одеялом. Она совсем рядом, я даже слышу запах ее волос и угадываю руку, которая лежит перед моим лицом. И вдруг — сам не знаю как — я перекаत्याю голову к ее руке и губами тихо-

нечко касаюсь бархатно-гладкой, пахнущей солнцем кожи. Рука слабо вздрагивает, но остается на месте. А я так и застываю в этой позе припавшего к ручью человека...

Звонкий крик «подъем!» поднимает меня. Открываю глаза и вижу, что Роман с Наташей уже выбрались из палатки...

Выхожу, смотрю на озеро. В предутреннем сумраке оно лежит огромным запотевшим зеркалом. Зябко ежась, спускаемся к воде, умываемся и садимся на берегу, целя глаза туда, где бледно белеет полоса рассвета.

— Скоро,— зевая, говорит Роман и смотрит на часы.

В смутной черте горизонта показывается алый крохотный бугорок. С неуловимой быстротой он поднимается вверх, округло крупнея и разгораясь; через минуту-другую ярко светит малиновый диск и от него двигаются по бледно-голубому небу жидкие розоватые тени. И тотчас озерная гладь вспыхивает оранжевым гляncем...

— А может, смысл в этом...— тихонько говорит Наташа.— В красоте?

— Может быть,— соглашается Роман.

Я встаю и решительно командую:

— Ну, станишники, в дорогу!

Мы быстро завтракаем, снимаем палатку и трогаемся в путь, слегка усталые от отдыха...

Между тем научные наши дела продвигались как будто нормально.

Как пущенный с горы снежный ком, рос с каждым днем интерес к нашей работе. Наша лаборатория стала местом паломничества корреспондентов и различных делегаций из Москвы, с Украины, из Грузии. Люди желали своими глазами увидеть эффектный самораспад шлака. И Фессер, как всегда в таких случаях находясь в ударе, расхаживал по кабинету и говорил, говорил, говорил, блистая эрудицией и подкрепляя свой рассказ выразительными жестами. Однажды он вызвал меня и Гусарову и, нагрузив образцами шлаковых материалов, повел в директорский кабинет: там ждал первый секретарь обкома.

Мы расставили образцы на длинном, «заседательском» столе. Фессер, обращаясь в основном к полуседому человеку с депутатским значком на лацкане пиджака, показывал на цветочные горшки, где зеленели всходы злаковых.

— В этих горшках гранулированные шлаки и ни грамма почвы! Разумеется, мы поливали шлак водой. И вот результат: бобы и пшеница вырастают на шлаке в полтора раза быстрее, чем на почве. При этом не нужны ни вспашка, ни удобрения!..

Секретарь обкома, покрутив в руках стеклянную колбочку со шлаковым порошком, спросил:

— А дороги, товарищ Фессер, можно строить из такого материала?

— Грунто-шлаковые — да! — веско ответил шеф.

Визит первого секретаря в институт прошел удачно: уже через неделю Фессер выступил с докладом на бюро обкома, которое одобрило работы шефа как имеющие «исключительное значение». А короткое время спустя шеф вылетел с докладом в Москву, в Министерство черной металлургии. Вернулся он сияющий и возбужденный: министр издал приказ о промышленном внедрении способа Фессера...

Делегации, корреспонденты, статьи в газетах — конечно, это был успех, и я воспринимал его как собственный. Когда в одном из столичных журналов появился очерк о Фессере, где его называли крупным ученым и изобретателем, я от души порадовался за шефа. И все-таки я замечал, что в институте далеко не все разделяют мое настроение...

Однажды по делам стенгазеты я зашел к секретарю партбюро Саградову. Было ему лет тридцать, но он уже считался крупным специалистом в области звукоизоляции, заведовал лабораторией и трудился над докторской диссертацией. Работал он на первом этаже, отделенный от своих сотрудников стеклянной перегородкой, за которой слышалось жужжание решающих машин и виднелись ящики разнокалиберных приборов, теснящихся на стендах, на столах и даже подоконниках.

Вхожу, здороваюсь. У Саградова сухощавое, узкое к подбородку лицо, смуглое, как у цыгана, серые внимательные глаза и маленькие, твердые губы, на которых то и дело блуждает ироническая полуулыбка. Сидит, облокотившись на перекинутую через стол широченную бумаж-

ную ленту, испещренную строчками крупных, корявых, как иероглифы, интегралов и греческих букв, и разговаривает с Лискиным. Лискин расположился напротив, подомашнему отвалившись в угол дивана. Добродушным лицом он напоминает Романа, но кажется значительно старше, может быть, из-за седины, густо тронувшей его когда-то черную шевелюру.

— Эти фессеровцы,— говорит Саградову Лискин,— монополию установили на заказы. Машину попросишь у снабженцев — не дают, обе по приказу Голосова возят Фессеру шлаки. Придешь в мастерскую — и там на тебя плевать хотели: слесари, видишь ли, срочный заказ выполняют для Фессера. Порядочки, черт бы их подрал!— Эту фразу Лискин выговаривает с раздражением, и на шее его напрягается голубоватая жилка. Но раздражение его незлое — как у добряка, нарочно решившего раззадорить себя.— Ты должен вмешаться. Слышишь, Сергей Палыч!

— А при чем тут я?— пожимает плечами Саградов, и глаза его взирают на Лискина с мирным, чуть ироническим спокойствием.

— Ну, не ты, так партбюро,— говорит Лискин.

— А при чем здесь партбюро?— спрашивает Саградов.

— Как при чем?!

— Вам нужно персональное разъяснение?!— с насмешливой угрозой спрашивает Саградов.— Лаборатория товарища Фессера — ведущая! Ведущая!— скандирует он с наигранным пафосом.

Этот тон Саградова меня задевает, я хмурюсь, но молчу.

— Ведущая,— угасшим тоном повторяет Лискин и, блеснув на меня глазами, вдруг говорит с напором:— А я так считаю: молодец Фессер! Умеет и заказы пробить, и к начальству подойти, и с рекламой своих ребят развернулся вон как! Так и надо, черт возьми!

— Уж не хочешь ли ты сказать,— с улыбкой спрашивает Саградов,— что твои автоматы менее популярны, чем изобретение Фессера?

— А!— Лискин вздыхает.— Поседеешь, пока пробьешь широкое внедрение. В Японии вон всюю промышленный шпионаж действует, смотрел фильм «Черный автомобиль»? А я бы рад был, если бы кто-нибудь украл

мое изобретение, лишь бы внедрили как следует...

— Отсталый вы человек, Борис Исаакович,— шутливо выговаривает ему Саградов.— Не понимаете, что слово «внедрение» изжило себя... Даже этимологический смысл его говорит о действии через силу. Давно уже пора «внедрение» заменить понятием «освоение». Скажем так: освоение научных достижений. Автор же, как мне кажется, должен отвечать лишь за добросовестность своих разработок...

— Демагогия,— ворчит Лискин и, тяжело поднявшись, уходит.

Внутри самой нашей лаборатории, мне показалось, началось какое-то непонятное брожение — и это больше всего меня тревожило...

Как-то раз, когда мы с Нежевлевым возвращались с мартена, он и говорит:

— Слыхали, шеф в соавторстве с Вьюгиным послал статью в «Силикатные материалы»? А кто вел эксперименты? Вы и я. Однако нас даже словом не упомянули.

— Шеф — автор способа,— говорю,— и руководитель темы. А мы... вернее, я... Ну, что я сделал такого? Я только начинаю. Другое дело — вы...

— Наивный вы человек, Леонид Александрович,— со снисходительной усмешкой заявляет Нежевлев.— Да мы с вами самую грязную, самую трудную работу ведем — эксперименты в мартене. Понимаете вы это?!— И, внушительно помолчав, добавляет:— Когда я был аспирантом, мне по заданию профессора Попова пришлось выполнять одну небольшую работенку. Так, даже и ненаучную ее часть. И что вы думаете? Попов пишет на эту тему статью и включает меня соавтором по алфавиту. Первым! Вот это ученый!

Я промолчал, но подумал с досадой: «Пошел бы да и высказал Фессеру в глаза, а то наушничаешь...»

Через несколько дней тот же Нежевлев говорит мне таким дружески-доверительным тоном:

— Что-то Гусарова стала слишком нос задирать. На лаборантов покрикивает. Вчера на Майю собак спустила: таммановскую печь, видите ли, включили без ее разрешения! И чуть что: «Я выполняю указания Льва Андрейча!»

Я пожимаю плечами:

— Что-то не замечал за ней ничего такого...

— А вы,— говорит,— вообще многого не замечаете. Вы, вероятно, один только не знаете, что шеф неравнодушен к ней.

Я едва сдержался:

— Вы-то откуда знаете?! Может, они любят друг друга!

Нежевлев только усмехнулся мне усмешкой умудренного жизнью человека и отошел...

Я не мог взять в толк, отчего это Нежевлев, всегда такой предупредительный к шефу, изменил к нему отношение. «Просветила» меня Сперантова. Останавливает меня однажды в коридоре и говорит расстроено:

— Вы слышали?.. Ах, да, вы были на заводе... Ой, что у нас творится, что творится... Так все хорошо было, и вдруг — на тебе! Нежевлевы поцапались с Ольгой Ивановной в пух и прах, даже здороваться перестали. И все из-за какой-то злосчастной печки... А сегодня, ой, что сегодня было!.. — Голос у Сперантовой грустный, расстроенный, а губы растянуты в улыбке и глаза блестят; говорит она, захлебываясь от возбуждения: — Нежевлев такой скандал закатил шефу! Так они друг на друга кричали! Жуткое дело! На этот раз сыр-бор загорелся из-за журнальной статьи, Анатолий Данилович претендовал на соавторство... Безусловно, дело тут не в статье. Статья — повод для скандала... А все началось с того, что Фессер сделал своей правой рукой Ольгу Ивановну. Вы знаете, прямо он об этом не говорит, но все указания передает теперь через нее. И даже лаборантов ей подчинил. Это-то и ударило по самолюбию Нежевлева. Что-что, а этого он не мог спустить Фессеру. А ведь какими друзьями были — водой не разольешь!

Помню, в тот же день вызвал меня шеф. Захожу: он сидит в позе смертельно усталого человека, посасывает трубку и рассеянно смотрит сквозь очки на стол. Вызвал меня по делу, а начал с жалобы.

— Вот так, Леня,— говорит он мне устало,— чем больше делаешь человеку добра, тем больше он стремится отплатить тебе черной неблагодарностью. Я пробил ему персональный оклад,— продолжал он тоном, вызывающим к сочувствию и пониманию,— по существу, он был моим заместителем. А как он ответил на это? Он и его дражайшая супруга?.. И черт меня дернул взять к себе

эту ведьму!.. Это все она настраивает против меня Анатолия. До того распоясались, что стали оскорблять своего же товарища: обидели Олю, а ведь она выполняла мои распоряжения... К сожалению, такова жизнь, Леня.— И, тяжело вздохнув, он вяло, с неохотой, начал о делах...

Как-то и Гусарова излила мне свои обиды.

— ...Вы их совсем не знаете, этих Нежевлевых!— говорила она торопливо, и виноватые глаза ее, казалось, готовы были заплакать.— Это такие люди, такие люди... Особенно он! Он за Львом Андренчем увязался только потому, что почувствовал поживу.

Короче говоря, скверно стало в лаборатории, тоскливо и беспокойно... Помню, переживал я из-за этого страшно и спрашивал сперва себя, а потом Романа: «Отчего это люди, умные, взрослые, знающие, вместо того чтобы отдавать всего себя любимому делу, растрачивают силы и нервы на никому не нужные ссоры, склоки?»

Объяснение Романа, что «весь корень зла в низком нравственном самосознании наших коллег, самосознании, которое, увы, не столько воспитывается умом и не столько образованием, сколько жизнью самой»,— показалось мне слишком спорным и малоубедительным.

А тут еще застопорилось дело с внедрением нашего способа. Три месяца прошло, как металлурги на совещании одобрили новую идею, истекал месяц со дня издания приказа министерства о внедрении этой работы — а все как умерло. Фессер слал запросы один за другим — письма, телеграммы — с заводов ни слуху ни духу. И это молчание наконец взорвало шефа.

— Силу трактора и власть министра надо иметь, чтобы пробить что-то новое! Хоть бы где-нибудь, на каком-нибудь паршивеньком заводишке внедрили! Нет!— он метался по кабинету.— Иметь возможность, превращая шлак в ценнейший материал, получать огромные прибыли — и плевать на такую возможность! Даже тот факт, что капиталисты готовы из своего кармана заплатить миллионы долларов за лицензию, даже это не может сломить нашу рутину! Ну, ничего! Не министерство, не Госкомитет, так ЦК поможет!

В начале июля он улетел в Москву. За себя он оставил Нежевлева. Почему он оставил Нежевлева, было непонятно, и я подумал, что, возможно, Фессер не хотел напрасно разжигать страсти.

Шеф уехал, и повеселевший Нежевлев перебрался в его кабинет. И дня через три вызвал нас на совещание.

Вхожу, сажусь и замечаю: Нежевлев, сидя за столом шефа, встречает приглашенных с тем озабоченным и вместе значительным выражением, которое у него всегда появлялось, когда он разговаривал с корреспондентами и консультировал приезжих специалистов.

— Я вот зачем пригласил вас, товарищи,— начинает он негромко и переставляет мраморную пепельницу шефа с одного угла стола на другой.— С двух уральских заводов, со «Спецстали» и с завода имени Серго Орджоникидзе, получены телеграммы. Нас просят помочь в проведении опытных плавов. Считаю, что нужно немедленно выезжать на места...

— Ничего не понимаю,— говорит Майя и удивленно пожимает плечами.— Сами-то они провели хоть один опыт?

— Они сообщают, что у них распад не получается.

— Фу, господи!— усмехается Майя.— Что с них взять, с металлургов.

Сочувственно хмыкнув, Нежевлев озабоченно морщит узкий лоб и переводит глаза на меня:

— Леонид Александрович, вы с Людмилой Матвеевой отправляетесь на «Спецсталь» сегодня ночью...

— А как же с билетами?— начинает было Спераптова, но Нежевлев прерывает ее:

— Билеты я уже заказал. Я разговаривал по телефону с директором завода. Вас встретят. Так что можете собираться... А на завод Серго Орджоникидзе поедете вы, Ольга Ивановна...

— И не подумаю,— спокойно говорит Гусарова, отвернувшись к окну.

— То есть как это «не подумаю»? — Глаза у Нежевлева округляются и поздри белеют.

— По-моему, вам должно быть известно,— невозможно отвечает Гусарова,— что Лев Андреич поручил мне заниматься сепарацией. И пока я не закончу...

— Придется, значит, отставить сепарацию,— вставляет Нежевлев, повысив голос.

— ...и пока я не кончу эту работу,— как заведенная, договаривает Ольга,— я никуда не поеду...

— Прекратите препирательства!— вдруг вскакивает Нежевлев и сильно хлопает ладонью по столу.— Сейчас

мне дано право решать, кого где использовать! Мне, а не вам!

И, глядя на его остекленевшие, ставшие вдруг злыми глаза, я говорю себе: «Нет, таким нельзя доверять власть, даже в лаборатории...»

Мгновение — и Нежевлев овладел собой.

— К тому же,— говорит он уже обычным, деловым тоном,— ваша командировка, Ольга Ивановна, согласована со Львом Андреевичем. Он только что звонил мне из Москвы...

Вижу: лицо Гусаровой заливается краской, и, опуская глаза, она виновато бормочет:

— Ну, если так... Надо было сразу сказать...

Замечаю: Сперантова и Майя переглянулись, первая — удивленно, вторая — с презрительной усмешкой...

...Тот вечер я провел с Наташей. Мы сидели рядом и читали по-английски диалоги. Порой наши локти касались — и странный, волнующий ток пробежал от руки к руке, а когда входила в комнату мать, мы оба чуть заметно вздрагивали... Я видел мягкий, нежный профиль, склонившийся над книгой, хрупкое, как у подростка, плечо, голубоватую жилку возле самой ключицы, и мне хотелось сказать, что я люблю ее, но... я никак не мог решиться произнести эти простые и вместе с тем трудные слова... Потом она вышла проводить меня, но в коридоре, как назло, сновали соседи, и я смущенно распростился с ней, подумав: «Ничего, об этом я скажу, когда вернусь...»

Я забежал домой, быстро собрался, схватил портфель и поехал на вокзал. И вот иду я по платформе и слышу сзади громкий, весело возбужденный голос:

— Леонид Александрович!

Оглядываюсь: Сперантова. Она бежит по ярко освещенному перрону под руку с каким-то крупным, на голову выше ее мужчиной и кричит:

— Леонид Александрович! — Догнав меня, торопливо, задышавшись, говорит: — Вы купили билеты?.. Хух, задохнулась! Это мой супруг. — Мужчина вежливо кланяется. — Лешенька, познакомься... Как нарочно, таксист опоздал. Какой вагон? Пятый? Ну, побежали.

И пока мы спешим к вагону, размещаемся в купе, она все говорит, говорит, а я и Лешенька, с улыбкой глядя на нее, молчим и слушаем.

Перед самым отправлением появляются попутчики, два летчика-майора. Они здороваются с нами, закидывают на сетчатые полочки фуражки с блестящими козырьками и уходят, вероятно, в вагон-ресторан. Сперантова взглядывает на часы, ахает, бросается к супругу, звучно чмокает его в губы и выпроваживает за дверь. Состав тихонько трогается, за окном плывут освещенные киоски, фонарные столбы и пестрая, машущая руками шеренга провожающих.

А Сперантова все говорит: о Лешеньке, работающем главным энергетиком завода, о том, что ей, как «хорошо оплаченной жене», шеф не желает прибавлять зарплату, о дедушке, приехавшем на днях из Ленинграда повидать внучку Верочку, о том, что дед ей, Людмиле Матвеевне, не родной: он и бабушка взяли ее в войну из детдома и воспитали как родную... И множество всяких других подробностей услышал я о дедушке, бабушке и строптивом характере дочки Верочки. Я слушал вполуха и посмеивался про себя: «Ну, прорвало человека...»

Впрочем, болтая, она не сидела без дела. Она заправила постели, задернула шторы, включила настольную лампу и, открыв свою огромную хозяйственную сумку, выставила термос, расписные чашки, выложила и целую грудку румяных шанежек.

— Сама стряпала. Угощайтесь,— говорит она, улыбаясь и разливая по чашкам дымящееся какао.— Как вам нынче понравился Анатолий Данилович?— спрашивает она о Нежевлеве.— Определенно, он ревнует шефа к Ольге. Конечно, Ольгу Ивановну можно осуждать, но, знаете, я не понимаю...

Отхлебнув какао, я спрашиваю:

— А разве шеф не женат?

— Что вы!— говорит Сперантова, отставив чашку.— Он живет с женщиной, которую... ну, как бы это сказать? Он испытывает к ней душевную привязанность. Эта женщина — жена его погибшего друга Доброва. А первая жена Льва Андрейча — московская актриса. Так что о любви здесь вряд ли приходится говорить...

— Почему же,— спрашиваю,— он честно не признается этой женщине, что любит Гусарову?..

— А как же быть с Добровой?— удивленно расширяет глаза Сперантова.— Бросить?.. Хотя кто его знает? Он такой сумасброд.

Я отодвигаю порожнюю чашку:

— Большое спасибо, Людмила Матвеевна. А шанежки у вас — объедение.

Она розовеет от удовольствия:

— Кушайте еще...

— Нет. Я — пас. Да и спать пора, — говорю, — мы ведь приезжаем чуть свет.

— Что ж, спать так спать, — соглашается Сперантова. — Вы ложитесь, а я выйду пока.

Я ложусь и, подремав немного, засыпаю. И вижу сон: будто стою на берегу большой, широкой реки, а на другой стороне ее стоят и машут мне Наташа, Роман и кто-то еще. Я делаю взмах руками и вдруг взлетаю над рекой, ощущая замирание сердца. Некоторое время я парю над рекой и вдруг срываюсь и падаю в воду. Отчаянно гребя, задыхаясь, плыву к другому берегу, и когда выбираюсь из реки, у горизонта вижу одинокую фигуру призрачно ускользающей девушки... Кто она — Наташа или кто-то другой, — не могу разобрать... Черт его знает, почему мне запомнился этот сон...

Стук проводника разбудил меня. Поднимаю голову и вижу Сперантову. Она сидит за столом, умытая, свежая, в новом, полосатом платье. Летчиков в купе нет. Наверное, сошли ночью.

— Подъезжаем, — весело говорит Сперантова. — Смотрите прелесть какая!

Я свешиваю голову с полки и смотрю в окно. На волнистом склоне зеленой горы, загородившей полнеба, чуть не сплошь лепятся домишки, белеющие шиферными крышами. А над горой, на мутно-алой полосе восхода, воронено чернеют зубцы дремучего бора.

— Чувствуется настоящий Урал.

Встречают нас немолодая женщина с робкой улыбкой, Елкина, из заводской лаборатории, и ведет на привокзальную площадь. В центре площади возвышается скульптура двух бронзовых футболистов, дерущихся за мяч, а возле урчит мотором обшарпанный автобус «пазик». Он везет нас по тряской мостовой вверх по узкой улочке, петляющей у подножья горы. Справа по склону темнеют древние избы с крытыми дворами, а слева, далеко внизу, стальным блеском отливает неподвижное озеро.

— Как вы тут живете? — спрашивает Елкину Сперантова. — Не скучно вам вдаль от шумной цивилизации?

Телевидение хоть есть? А как с продуктами?— Она заводит тот бесконечный разговор о мелочах, который навеивает на меня тоску...

Устроились в гостинице, неподалеку от завода.

Позавтракав, я оставил Сперантову отдыхать и отправился вместе с Елкиной в мартен. Заводик выглядел очень древним. Строил его еще Балашов, демидовский управляющий. Заводик утопает в зелени тополей, и ничего не видно, кроме нитей стальных путей, бетонных тротуаров и дымящих впереди сигарообразных труб.

Начальника мартена Полищука, кражистого мужчину с большим румяным лицом, мы отыскиваем в диспетчерской — тесной, прокопченной клетушке, ютящейся с краю печного пролета. Он сидит возле диспетчера и отчитывает молодого сталевара. Сталевар, переминаясь с ноги на ногу, стоит перед ним в суконной робе, с войлочной шляпой в руке. У стены, на железной лавке,— группа сталеваров, судя по грязным, не просохшим от пота лицам, только что кончивших смену.

Полищук говорит, сердито двигая бровями:

— Как же ты мог, Астанин, опоздать на смену на три часа?

— Проспал, Захар Ильич,— несмело отвечает парень, глядя в пол.

— Как же ты посмел проспать?

— Так вот получилось, Захар Ильич...

— Почему же у твоих товарищей ни у кого... не «получилось»? — спрашивает Полищук.— Что молчишь?!

— Да встретил вечером ребят знакомых,— выдавливает из себя сталевар.

— Ну и что?

— Ну что — «что»... Зашли, сообразили. Пришел в общежитие, прилег полежать, да и проспал...

— Да какой же ты, к дьяволу, сталевар! — выбрасывает перед собой ладонь начальник.— Собразили пол-литра на тронх — и с копыток!

— Да мы,— сконфуженно бормочет парень,— четыре раза соображали...

Тишина диспетчерской взрывается дружным хохотом. Откинувшись на спинку стула, смеется и сам Полищук, моргая заслезившимися глазами.

— Ладно, Астанин,— с нарочитой строгостью взглянув на ободрившегося парня, говорит начальник,— пусть

это будет первым звонком тебе. Повторится — пощады не жди. Понял?

— Понял, Захар Ильич. Можно идти?

— Давай... Идите, хлопцы, отдыхайте.

Сталевары направляются к дверям, шаркая бахилами. Полищук подходит к нам, здоровается.

— Это товарищ Вересов,— представляет меня Елкина,— сотрудник Фессера...

— Очень вас ждем.— Полищук скашивает лукавые глаза на Елкину:— У наших товарищей из лаборатории не получается шлаковый распад...

— Не получается,— покорно вздыхает Елкина.

— Обязательно получится.— Полищук переводит глаза на меня:— Говорите, что от меня требуется?— И, выслушав, приглашает за собой в пролет.

Выходим. У печей — дребезжанье звонков и грохот спущенных взад-вперед завалочных машин. Известняковая крошка — на месте, на одной из печей вот-вот собираются выпускать плавку. И Полищук предлагает первый опыт провести не медля...

Я переодеваюсь в робу, выхожу с пирометром в руках на площадку. По лотку, солнечно сверкая, уже идет сталь, над струей свисает с мостового крана бункер с крошкой. Смотрю на струю: она все больше желтеет — значит, пошел шлак. Полищук делает знак крановщику — и в самую середину шлаковой струи, плавно и мерно, как в песочных часах, ручьем течет известняковая крошка.

— Во!— показываю я Полищуку палец «на большой», и он довольно улыбается.

— А мы крошку разом высыпали,— покаянно говорит Елкина и, посмотрев на меня, краснеет.

Во вторую смену я опять пришел в мартен, уже со Сперантовой, и при участии мастера мы провели еще одну плавку.

Утром бегу на завод. Опытный шлак, обе отливки, разгружен на отдельной площадке, около мартеновского цеха. Хожу у шлаковых отливок и волнуюсь: рассыплется, не рассыплется?.. Судя по химическому составу шлака, неудачи быть не могло. Но шут его знает... Вскоре одну, а за ней другую отливку подергивает дымчато-серой пылью. Треснула, осыпаясь на землю, черная корка, и пошел интенсивный распад. К приходу Полищука

у подножья отливок барханами лежал порошок. Полищук взял в руку, пощупал и, рассмеявшись, сказал: «Ну и алхимики!..»

Все шло великолепно. Оставалось провести последний опыт, как вдруг на заводе кончилась известняковая крошка. Я кинулся на розыски, обегал весь завод, обшарил все коробки и лари — крошки не было. Позвонил в карьер и попросил ускорить отгрузку платформы с крошкой. Настроение у меня испортилось: я боялся опоздать на экзамен — по английскому, и продлевать командировку мне никак не хотелось.

Прихожу в гостиницу, стучусь к Сперантовой.

— Войдите! — слышу.

Вхожу, она лежит на кровати, прикрыв ноги углом одеяла. В руках «Роман-газета».

— Не нашли. По вашему лицу вижу, — вздыхает Сперантова.

Я молча прохожу к окну, раскрытому в сад, сажусь на стул и начинаю барабанить пальцами по подоконнику.

— Ох, и надоело же мне здесь, — поет Сперантова, зевая и потягиваясь. — Может, культпоход в кино устроим, а?

Я почти ее не слышу, поймав себя на вдруг пришедшей мысли.

— А почему мы, собственно, уперлись в эту чертову крошку? — думаю я вслух, искоса поглядывая на Сперантову. — Почему бы нам не взять какой-нибудь другой материал для затравки?

— Вы же знаете почему, — говорит Сперантова, поправляя под локтем подушку и устраиваясь поудобнее. — У извести кристаллическая решетка идентична решетке белита, который содержится в шлаке. Ведь только при этих условиях и возможна его интенсивная кристаллизация...

— Кристаллы, кристаллы, — бормочу я, потирая переносицу. — А почему бы нам не использовать для этой цели... сам этот минерал, белит?..

Глазищи Сперантовой делаются еще больше, и вдруг она начинает хохотать.

— Да что с вами, Леонид Александрыч? — говорит она сквозь смех. — Да где же его взять в таком количестве, этот белит? Уж не в аптеке ли купить прикажете?

И тут меня осеняет.

— А порошковый шлак? — спрашиваю я.

— Господи, да при чем тут порошковый шлак? — смеется Сперантова.

— Так ведь в шлаке же, — почти ору я от радости, — ссэмьдесят процентов белита!

На лице ее появляется совершенно идиотское выражение:

— Вы хотите сказать...

Я вскакиваю и ору:

— Вот именно! Затравкой может служить сам рассыпавшийся шлак! И это будет идеальная затравка!

Сперантова отталкивается от подушек, спустив с кровати босые ноги, спрашивает с растерянной улыбкой:

— Как же мы раньше не додумались? Ведь это же так просто!

Порываясь к дверям, я говорю весело и с некоторым чувством превосходства:

— Когда решение найдено, оно всегда кажется простым! Ну, я — к Полищуку!..

Короче говоря, эксперимент со шлаковым порошком в качестве затравки оправдал себя блестяще. И через день, оформив актом результаты испытаний, мы двинулись в обратный путь. В подарок Наташе я вез с десятков кедровых шишек, от которых наше купе наполнилось свежим таежным ароматом.

Мы приезжаем часа в три. Разыскиваю на раскаленной от солнца вокзальной площади такси, отвожу Сперантову домой, а сам еду в институт: не терпится сейчас же, пока не кончился рабочий день, обо всем рассказать шефу, по моим расчетам, Фессер должен уже вернуться из Москвы...

Вбегаю в вестибюль и первым долгом, разумеется, звоню Наташе. Звоню и слышу ее голос:

— Ты приехал? — И чувствую — она по-настоящему рада моему звонку. — Зайдешь? — спрашивает. — Надеюсь, ты не забыл, что послезавтра экзамен?

— Нет, — говорю, — конечно, нет... Во сколько?

— Часов в восемь. Только, чур, не опаздывать!

— Ну что ты! — смеюсь. — Такой ответственный вечер!

— Ой, Леня! Несерьезный ты парень, — слышу: и она смеется. Потом говорит: — Ладно. Жду!

Я вешаю трубку и веселыми скачками бегу по лестнице вверх.

— А-а! Путешественник! Входи-входи,— завидев меня, говорит Фессер. Он сидит за столом, большой, благодушный, в белой безрукавке, обтянувшей его широкую грудь, и посасывает трубку.— Ну как? Со щитом или на щите?

— Со щитом, Лев Андренч,— отвечаю я ему в том же тоне и обмениваюсь рукопожатием с ним и Нежевлевыми, смиренно сидящими напротив, у стены.

Шеф показывает на стул:

— Садись. А где же ты потерял свою даму?

— Какую даму? — спрашиваю я, не сразу поняв его.— А-а, она домой поехала.

— Да-да,— с нарочитой озабоченностью рокошет шеф,— нужно поскорее успокоить супруга. Бедняга шел на такой отчаянный риск — отпустить красивую жену с молодым, энергичным парнем! — И он разражается разительным смехом.

— Лев Андренч! Вы задеваете самое больное место у человека. Видели бы вы, какая у Лени симпатичная девушка! — И Майя многозначительно косится на меня.

Нежевлев тоже смотрит на меня с лукаво-простецкой улыбкой. От этих взглядов я краснею и думаю: «Откуда же они все знают, черт возьми?..»

А шеф все хохочет, выговаривая через смех:

— Ха-ха-ха! Разве одно другому мешает?

— Лев Андренч! — с шутливой укоризной говорит Майя.

— Ну, не буду, не буду,— шеф обессиленно машет рукой, весь красный от смеха.— Валяй, рассказывай, Лень!

Подаю ему акт. Он бросает цепкий взгляд на утверждающую роспись директора «Спецстали» и откладывает бумагу в сторону.

— Молодец, Лень! — вскочив, шеф принимается расхаживать по кабинету.— Итак, ребята, удача на трех заводах. У Оли — на заводе имени Орджоникидзе — тоже отличный результат! Теперь остается ковать железо, пока оно горячо. В Тагил, Толя,— говорит он Нежевлеву,— поедешь ты. Сперантову пошлем в Северск. А в Свердловск я, пожалуй, сам поеду и шаракну там в главке доклад. Теперь они пойдут на внедрение, обя-

заны пойти! — И, посмотрев на меня, продолжает: — В Москве я добился, чтобы всем заводам Свердловской области спустили план на шлаковое удобрение. — Он подходит к столу, берет трубку, закуривает, на губах его появляется насмешливая улыбка. — И вот когда заводы приступят к делу, к дроблению, к помолу шлака, когда у них начнут ломаться мельницы, дробилки — в отвальных шлаках ведь полно металла — и план окажется под срывом, вот тогда-то они забегают! Тогда у них останется единственный шанс — внедрить наш способ «самораспада»! Иначе они пропали: не выполнить постановление правительства! — пыхнув ароматным дымком, он торжествующе вскидывает брови.

Я чувствую, как у меня мурашки пробегают по спине, и думаю: «Да, дела закрутились!..»

— О-о! Уже конец рабочего дня, — вдруг спохватывается Майя, посмотрев на часы. — Мы в театр собрались в кои-то веки, — виновато улыбается она шефу и встает. — Пошли, Анатолий.

Нежевлев с неохотой поднимается. Я начинаю рассказывать Фессеру о своей идее, но шеф с ходу схватывает мою мысль:

— Затравкой может служить любой материал, в составе которого имеется белит!

— Точно! — говорю.

— Молодец, Леня! — он кладет трубку в пепельницу, подходит к дверям и защелкивает английский замок. — Твой успех надлежит отметить, дружище!

Он открывает массивную дверцу черного сейфа, достает несколько стограммовых мензурок и объемистую колбу, в которой колышется бесцветная жидкость. Ставит все это на столик для образцов и, сделав широкий жест, мефистофельски мне подмигивает:

— Садись поближе... Спирт когда-нибудь пробовал? — Он выдвигает ящик стола и со стуком выкладывает кусок копченой колбасы.

Я говорю:

— В Сибири, на практике, пробовал разведенный.

Фессер интригующе прищуривает глаза, разливает в две мензурки спирт, а в две другие воду из графина и протягивает мне кусок батона с колбасой...

Слышу, в коридоре стук женских каблучков. Фессер, приоткрыв дверь, успокоенно говорит:

— Входи...

Это Гусарова. На ней красивое, светло-серое платье. Лицо оживленное, глаза светятся.

— О-о, Леонид Александрович,— она кокетливо мне улыбается.— Как ваши успехи? Как командировка?

— Спасибо, все хорошо...

Шеф усаживает ее между мной и собой.

— Выпей, Оленька, за Ленин успех,— говорит он.— И за свой тоже.

Она умоляюще смотрит на него, но шеф разводит руками:

— Ну, милая, шампанского у нас нет.

Она переводит глаза на меня. Я говорю:

— Выпейте немножко.

Она покорно вздыхает:

— Тогда мне разбавить...

Шеф доливает ей мензурку водой и поднимает свою:

— За успех, ребята! Есть интересная новость,— шеф загадочно улыбается.— Сегодня звонили из Москвы: почти решен вопрос об организации на базе нашей лаборатории Всесоюзного института шлаков!

— О-о! — обрадованно произносит Гусарова, а я быстро спрашиваю:

— И вы его возглавите?

Шеф отчего-то хмурится и, помолчав, со вздохом говорит:

— К сожалению, в директора я не гожусь. Не умею ладить с подчиненными. А вот замом по науке — другое дело... Но решение — это еще не институт. Его еще нужно пробить — категорию, штаты, оборудование, помещение... И многое здесь будет зависеть от нас с вами, насколько быстро сумеем развернуться с внедрением наших работ. Внедрить «самораспад» хотя бы на трех-четырех заводах — и мы на коне! Да-а,— вздыхает шеф. Он хмурится и, откинувшись на спинку, протягивает свои тяжелые ноги под стул Гусаровой, которая не сводит с него преданных глаз.— Ты знаешь, Леня, в сорок первом я сделал крупное изобретение в области военной техники. Был я молод, безвестен, и никто не хотел признавать ни меня, ни моего изобретения. Тогда, через друзей, мне удалось связаться с референтами Наркома обороны. Те доложили обо мне. И я выступил с докладом перед военными специалистами, я — двадцатилет-

ний юнец! Тогда же, на специальном полигоне, я опробовал свое детище: от моей бронебойной пули разлеталась новейшая танковая броня. А уже через день я был назначен руководителем особого конструкторского бюро и получил от Комиссариата обороны столько средств и людей, сколько было нужно. Спустя полгода мне, без защиты диссертации, присвоили степень кандидата и наградили орденом Ленина. А потом... — Фессер печально прикрывает глаза.

И вдруг, сверкнув глазами за стеклами очков, он говорит с неожиданной силой:

— Кое-кто из моих однокашников в академиках ходит! Эх! — он нервным движением хватается за колбу и наполняет наши мензурки, — мы еще повоюем, ребята!

Я смотрю на Гусарову: на губах ее блуждает счастливая улыбка.

— Ну, Леня! — поднимает свой «стакан» шеф.

— Мне пора, — говорю я, вспомнив, что мне еще нужно успеть заскочить домой.

Шеф шутливо хмурится:

— Куда пора? Подождет, если любит...

Я улыбаюсь:

— Мне по делам...

— Какие могут быть дела в твои годы! Выпей, а потом пойдешь!

Гусарова смущенно встает.

— Пойду поищу что-нибудь на закуску, — говорит она и уходит, а шеф кричит ей вслед:

— Поищи, поищи, Оленька... Ну, Леня! — и он останавливает на мне свои осоловевшие глаза. — А Нежевлевых не слушай. Я ведь знаю, они распускают сплетни, будто у меня шашни с Ольгой... А, дрянь все это! — Он обессиленно взмахивает рукой. — Это все Майка. Это ее штучки. С Анатолием еще можно найти общий язык, а эта стерва... И виноват во всем я: не надо было брать ее в свою лабораторию. А вот Людмила, та баба хорошая, — бормочет шеф, пошевеливая бровями, — правда, любит языком потрепать, но женщины без этого не могут...

Тут входит Гусарова и с улыбкой, погрозив ему, говорит:

— Женщин прошу в моем присутствии не обижать...

Шеф улыбается долгой улыбкой:

— Скоро у нас свой институт будет. Вот уж тогда развернемся... Оля! — вдруг обращается он к Гусаровой. — Ты как, готова к поездке в Пермь? — И поясняет мне: — Она у нас на совещание едет...

Гусарова как-то сразу вдруг сникает, улыбка исчезает с ее раскрасневшегося лица.

Фессер подходит к столу, берет трубку и, поковыряв в ней пальцем, откладывает на место:

— Черт! Табак кончился. Пойду, стрельну сигарету у вахтера. — И он уходит.

— А что в Перми? — спрашиваю.

— Еду с докладом по теории самораспада, — говорит Гусарова, и в голосе ее звучит искреннее огорчение. — Лев Андреич сам не может, посылает меня... — Вдруг лицо ее искажается гримасой, а глаза наливаются слезами. — А я... я боюсь. Ведь я ду-у-ра-а!..

Вижу, как по щеке ее сползает слеза, и мне становится жаль ее. Повинуясь какому-то непонятному чувству, я дружески обнимаю и целую ее. Гусарова смотрит на меня, и глаза ее изумленно мигают, а на губах расплывается слабая, хорошая улыбка. Слышу за дверью тяжелые шаги и с хитростью подвыпившего человека принимаю прежнюю естественную позу. Входит шеф. Лицо у него красное и рассеянное. С сигаретой в зубах он проходит на место и наливает в мензурки спирту.

А я посматриваю на него с веселым превосходством, потому что сам себе кажусь совершенно трезвым.

— Ничего, — странным, сипловатым голосом бормочет шеф и поднимает мензурку, — будет внедрение, не будет, а институт мы все равно пробьем! Мы — не дармоеды! Мы не станем заниматься изучением влияния северного сияния на размножение комаров! Государству мы дадим миллионные прибыли!

Его слова вызывают во мне горячий восторг, и я проникновенно говорю ему:

— Я так вас понимаю: хотите создать школу, которая была у Старшего Патона, масштаб эксперимента — цех и завод! Верно, Лев Андреич?

Пьяно улыбаясь, шеф обнимает меня за плечи и говорит Гусаровой:

— Вот, Оля. Никто меня не понимает, а он понял. Умница ты, Леня!..

Ты знаешь, как я отношусь к выпивке: есть она — хорошо, нет ее — еще лучше, пристрастия к этому делу я никогда не испытывал. А с Фессером хватил я, старик, лишку, как это получилось, сам не знаю. Ну и, естественно, первая глупость повлекла за собой вторую: в таком виде отправился я к Наташе...

Бреду по вечерней улице и соображаю: «Как же быть-то теперь?.. В таком виде, конечно, являться неприлично... Но я же дал слово... значит, я должен прийти. Просто извинюсь, скажу, что болен, скажу, что не могу сегодня заниматься... А ноги-то ты, брат Леха, ставишь не совсем... Нет, иду-то я твердо, но с усилием... Может, домой повернуть?.. Э-э, нет. Так не годится. Она будет ждать, волноваться. Еще обидится... Раз уж я дал слово — сдержу... Приду, извинюсь, скажу, что болен...»

Вхожу под арку знакомого дома. Здесь дует резкий, отрезвляющий ветер. Приваливаюсь плечом к бетонной стене и несколько минут стою. Потом двигаюсь дальше...

«Главное, виду не подать, что выпил. Это я смогу... Нужно только сказать самое необходимое: «Наташа, прости, пожалуйста, я болен...» и уйти...»

Вхожу в полутемный подъезд, поднимаюсь по лестнице, звоню. Я приготовился увидеть Наташу, но открывает мне старуха соседка, и взгляд, которым она окинула меня, кажется мне подозрительным. Я тихонько вхожу и двигаюсь по коридору, осторожно-осторожно, словно выбираю нескрипучие половицы. Дойдя до комнаты «20», стучу, слышу «да-да» и, слегка приоткрыв дверь, вижу Антонину Ивановну: она сидит на диване с вязаньем в руках. Стараясь изобразить непринужденную улыбку, я говорю негромко:

— Добрый вечер. Наташу можно на минутку?

— Входите, Леня,— приглашает мать, но я закрываюсь дверью и отступаю в глубь коридора.

Через минуту появляется Наташа. Вижу на ее лице сердитое недоумение.

— Наташа, извини, пожалуйста... Не могу заниматься, я болен...

— Я вижу,— говорит она с иронией и медленным движением опускает руки в карман халатника.

Стою, не зная, что еще сказать, старательно смотрю на нее. Она молчит. Слышу: по коридору кто-то приближается, шлепая калошами. Наташа перемещается на

полшага в сторону, чтобы закрыть меня от этого человека. Человек проходит мимо, и Наташа спрашивает:

— Как дела? Как съездил?

— Да... все хорошо... — говорю я, тщательно выговаривая слова.

— Поздравляю...

Я так же старательно говорю:

— Спасибо.— Но у меня выходит «сыпасибо».

— Прощай,— с чуть заметной усмешкой говорит Наташа и уходит, плотно закрыв за собой дверь.

И, двигаясь на выход, я расстроено соображаю:

«Обиделась. Чудак я... зачем я сказал «сыпасибо»?.. Факт, заметила, что я не того... А вообще-то, держался я ничего, не очень было заметно. Ладно, она добрая, умная. Она поймет...»

Сдерживающей сосредоточенности, с которой я входил к Наташе, хватило ненадолго: пересечь двор, тускло освещенный светом окон, и пойти по тротуару. Но как только я ступил на тротуар, в моих глазах поплыла россыпь огней на проспекте и под ватно обмякшими ногами противно качнулся асфальт. «Леха, держись!» — крикнул я себе со злостью. Я ничего не видел, кроме этого зыбкого асфальта под ногами, и шел с единственной мыслью: дойти...

А теперь представь мое состояние на следующий день. Просыпаюсь с ощущением стыда, раскаяния и слабости. Голова кажется пустой, избитой, в желудке противно сосет... Умываюсь по пояс холодной водой, одеваюсь и иду в институт... И пока я шел по улице, пока пил черный кофе в кафетерии, у меня было такое чувство, словно я кого-то обманул... Весь день на душе у меня было мутно. В лабораторию заглянул шеф, поздоровался. Вид у него был помятый, а под глазами набрякли мешки. Только тут я вспомнил, что оставил у него в кабинете свой портфель и кедровые шишки...

Вечером, захватив с собой кулек с кедровыми шишками, я направился к Наташе.

— А Наташенька в кино ушла с Вадимом,— сказала Антонина Ивановна и с улыбкой приняла кедровые шишки.— Уж она вас ждала, ждала. Занимается английским, а сама все на часы поглядывает. Время к девяти, а вас все нет. Я еще сказала: «Не придет, поди. С дороги человек». Так она рассердилась! Вообще, она со мной ка-

кая-то нервная стала... Только проговорили — а вы и в дверях, белый весь, ни кровинки в лице.— Мать понимающе улыбнулась.— Да уж вы особенно не убивайтесь. С кем не случается?..

— Если бы вы знали, что значит для меня Наташа,— вырвалось у меня признание, и я торопливо, сбивчиво начал рассказывать о вчерашней истории...

Я надеялся, что Наташа, узнав подробности, меня поймет и мы помиримся...

Но... этого не случилось, старик...

Я увидел ее на экзамене. Она стояла среди толпящихся у дверей сокурсников. Я обрадованно подошел к ней, но она едва-едва кивнула мне и тотчас же включилась в общий разговор... Экзамены мы сдали оба. Для меня это был успех, но он меня не радовал. Я ждал возможности поговорить с Наташей...

Наконец она выходит в коридор, и, взяв ее под руку, я торопливо говорю, идя рядом с ней:

— Наташа, я хочу принести тебе извинения...

— Зачем же извиняться? — говорит она, высвобождая локоть.— Ты ни в чем не виноват.

Я смущенно продолжаю:

— Так все глупо получилось. Понимаешь, я зашел к шефу...

— Оставь. К чему все это?

Но я не унимаюсь:

— Но ты не сердисься?

— С чего ты взял? — спрашивает, и я чувствую холод в ее словах.

Помолчав, говорит:

— Прежде всего своим состоянием ты унизил самого себя.

— Я понимаю,— говорю,— но пойми и ты...

— Что ж, можешь этим утешаться.— Она останавливается на лестничной площадке и, помедлив, спрашивает:— А если бы я в таком же виде явилась к тебе домой, в общежитие?..

— Наташа, что ты говоришь?

— Вот и я,— отвечает,— тоже по наивности думала, что для тебя это невозможно. Прощай! — И поднимается по лестнице.

Я следом и каким-то жалким, просительным голосом говорю:

— Антонина Ивановна просила меня наколоть дров для кухни. Сегодня вечером я мог бы забежать...

— Если это тебя не особенно затруднит,— говорит она, не оглядываясь, и продолжает подниматься.

— Наташа, ну, пожалуйста,— делаю я еще одну попытку,— ведь я не такой уж...

Но она меня не слушает.

— Извини, Леонид. Мне нужно на кафедру.

— Я подожду тебя?

— Не стоит,— говорит Наташа.— Я буду оформлять отпуск.

— Ты собираешься в отпуск? — спрашиваю.

— Да, мы с мамой в среду уезжаем в Сухуми...

— Ах, вон как,— растерянно бормочу под нос и останавливаюсь: теперь нас разделяет целый лестничный марш.— До вечера! — глухо говорю я.

Мне было очень тяжело, старик. Будто камень лег на сердце, но я еще надеялся на примирение... И когда я с упоением колол чурбаки, то, глядя на весело смотревшую на мою работу Наташу, которая стояла в старенькой маминой кофте в дверях сарая, с уверенностью думал: раз улыбается, значит, все в порядке... Но когда я закончил, она так холодно посмотрела на меня, что я сказал себе: «Все!..»

Молча я сложил поленья в сарай и, надевая пиджак, спросил:

— Так что ж, мы больше не увидимся?

— Почему... — она пожала плечами.— Заходи, когда вернемся.— Она посмотрела на мое убитое лицо и добавила: — Если хочешь, пиши: Сухуми, турбаза Синоп.

Я только взглянул на нее и хмуро сказал:

— До свидания.— И побрел к воротам.

— До свидания. Большое тебе спасибо,— сказала она вслед.

Я шел домой, и обида душила мне горло. Помню: пришел, упал на койку и затих.

Сам понимаешь состояние человека, когда вот так, внезапно, рушатся его надежды. Какое-то время мне стало все безразличным... А тут еще пошли нелады на работе...

В течение нескольких дней, когда лаборатория готовилась к поездкам на заводы, с этих самых заводов посыпались телеграммы и письма, что шлак, обработанный «затравкой», эффекта саморассыпания не дает. И даже на заводе имени Орджоникидзе, где только что с успехом экспериментировала Ольга Ивановна, даже там повторные попытки заводчан получить «самораспад» закончились неудачей.

Шеф, так же легко впадавший в раздражение при любой неудаче, как и приходивший в восторг от малейшей удачи, все эти дни рвал и метал. Доставалось не только заводским работникам, этим «бездарям и кретинам», по его выражению, но и своим. За какой-то пустячный промах он обозвал лодырями двух лаборантов-новичков, и те ходили жаловаться в местный комитет. До слез довел Гусарову попреками за неудачу на заводе, а в отношениях с другими инженерами стал просто нетерпим: всякое сомнение в его идеях он воспринимал как личную обиду... Обстановка в лаборатории стала нервной, накаленной, и когда Роман вдруг сказал, что надумал уволняться, я не столько удивился, сколько расстроился, что остаюсь один. Роман давно был в контрах с шефом. С добродушным упорством он показывал Фессеру, что выходить на внедрение со шлаковым литьем преждевременно, потому что можно загубить хорошую идею. Но шеф не унимался. Он потребовал от Романа проектного задания на цех шлакового литья, и тогда Роман решил расстаться с шефом. Он подал на конкурс в какой-то номерной институт в Подмоскowie и, получив положительный ответ, явился к шефу с заявлением. Я как раз сидел у Фессера, когда вошел Роман и, добродушно улыбаясь, положил перед ним заявление.

— Что такое? — удивленно нахмурился шеф. — Тебя не устраивает оклад?

— Меня не устраивает постановка работы в принципе, — мягко сказал Роман, нависая над столом.

Шеф молчал и с мрачной задумчивостью водил глазами по заявлению.

— И еще есть причина, если уж быть откровенным до конца, — сказал Роман. — В социологии существует такое понятие — психологический климат. Так вот, этот климат в лаборатории — не для меня. Вы знаете, что я

имею в виду. Я все обдумал, Лев Андренч. Давайте расстанемся по-хорошему.

— Можешь убираться,— буркнул шеф и, размахнувшись авторучкой на заявлении, швырнул его Роману.— Но, пока не отчитаешься за работу, расчета я тебе не подпишу!

— Разумеется,— сказал Роман.— Недели через три-четыре я вам представляю отчет...

И вот, в один из этих горячих денечков, партийное руководство решило заслушать нашего шефа на бюро, и Фессер отправился на заседание, ну, просто переполненный раздражением. Вместе с ним были приглашены Нежевлев и я, профгруппорг.

Входим, рассаживаемся. За директорским столом, в белоснежной косоворотке, оттеняющей его цыганское лицо, восседает Саградов, строгий и сосредоточенный. Справа и слева, вдоль зашторенных от солнца окон, разместились в креслах Фессер, Нежевлев, я, а напротив — четверо членов бюро, среди них — директор Голосов. Из членов бюро мне была знакома лишь начальница лаборатории физической химии Науменко, пожилая, желчного вида женщина.

— Будем начинать?— спрашивает Саградов, обводя всех медленным, спокойным взглядом.— Тогда заслушаем сначала Льва Андреевича...

Сердито кашлянув, шеф нехотя поднимается, но Саградов говорит ему:

— Можете сидя.

— Сидя не привык... отвечать,— бросает шеф, и я начинаю волноваться за него.

Заложив руки за спину, покачивая вислыми плечами, он начинает говорить и, как всегда, говорит убедительно и веско. По его словам, дела в лаборатории идут прекрасно. Промышленные испытания нового способа «самораспада» завершены еще на двух заводах — «Спецстали» и Серго Орджоникидзе. Институту Гипромез выдано задание для проектирования цеха новой технологии. Зарубежные фирмы осаждают Комитет просьбами о продаже лицензий на разработанный способ...

— Так что результаты налицо,— заканчивает Фессер и устало опускается в кресло.

Саградов, слушавший с какой-то острой заинтересо-

ванностью, благодарит его и тут же задает вопрос:

— Скажите, а чем объяснить, что за исключением двух заводов способ ваш не дает эффекта ни на Урале, ни на Украине?

Шеф, недовольно покосившись на него, пожимает плечами:

— До остальных заводов у нас руки не дошли.

— Позвольте,— удивленно говорит Саградов,— разве есть необходимость экспериментировать на каждом заводе?

— В данном случае эксперименты на заводах — необходимость! — кидает ему шеф.

И тут вмешивается Науменко.

— Я не совсем понимаю Льва Андреича,— говорит она своим грубоватым голосом.— До сих пор о свойствах любого силиката можно было судить по его химическому составу.— И насмешливо спрашивает: — Или, может быть, шлак — исключение?

Шеф, исподлобья взглянув на нее, говорит, гневно краснея:

— Мне кажется, бюро — не место для технологических споров. Но я отвечу... Да! Мартеновский шлак — исключение!

— Вы меня извините, Лев Андреич,— резковато продолжает Науменко,— но я на ученом совете говорила и теперь скажу: коли вы не научились по исходному составу шлака прогнозировать его свойства, то к чему было афишировать работу как универсальную? Это не делает чести вам как ученому. В конце концов, простите меня за откровенность, это смахивает на блеф!..

Фессера как будто подбросило при этих словах.

— Прошу оградить меня от оскорблений! — гневно кричит он Саградову...

Честно говоря, мне тоже показалось, что Науменко «подкапывается» под шефа.

Смотрю на директора: сощуриль глаза в добродушной усмешке, он громко, по-хозяйски говорит шефу:

— Ты что это, Лев Андреич, раскипятился, как кухня полковая?!

Члены бюро, а за ними и Нежевлев оживленно хмыкают.

Саградов стучит карандашом по крышке стола и, восстановив порядок, спрашивает:

— Скажите, товарищ Фессер, а на заводе имени Орджоникидзе? Там, кажется, вы проводили опыты?

— Да! — дергает бровями шеф. — Туда выезжала Гусарова.

— А между тем... — спокойно продолжает Саградов, — вы почему-то не сказали об этом... Завод прислал телеграмму, что повторные испытания показали отрицательный результат...

Но шеф раздраженно прерывает его:

— В каждом деле бывают удачи и неудачи!

— Ну, хорошо, — Саградов быстро что-то записывает и поднимает глаза на присутствующих: — Нет больше вопросов? Тогда прошу высказываться.

Атаку начала Науменко. Стиль работы шефа она обозвала «ползучим эмпиризмом», но все-таки признала, что идея сама по себе интересна и заслуживает, чтобы ее решали не с кондачка, а по-серьезному, научно.

Потом встает Саградов:

— Я только одного не понимаю, Лев Андреич. Как можно заведомо сырую работу, по существу эмбрион, выдавать за новое слово в науке? Ажнотаж с вашим изобретением, Лев Андреич, ни к чему хорошему не приведет, а отрицательные последствия его уже видны воочию. В этом смысле я вполне разделяю беспокойство Аллы Павловны Науменко, и мы, в первую очередь вы, Лев Андреич, должны сделать выводы из этой критики...

Шеф стал мрачнее тучи.

Последним выступил директор.

— Работа интересная, — начинает Голосов, с хитроватой осторожностью улыбнувшись членам бюро и в сторону шефа. — Коллектив у них — хорошие ребята, работающие. Лев Андреич как руководитель — на месте. Есть у него, правда, слабость одна: увлекается он больно, разбрасывается. Все ему быстро хочется: раз, два — и в дамках! Такой уж у него характер горячий... Ну, это беда небольшая. Лев Андреич собирается выехать со своими помощниками на заводы. Думаю, он все заводы пустит. Стоит только ему приехать, с его энергией, с его энтузиазмом — так все шлаки сыпаться начнут, как у этого... у персидского мага. Так, что ли, Лев Андреич? — поглядывая на шефа и улыбаясь, спрашивает Голосов. — Посыплутся ведь шлаки?..

Но шеф молчит, с угрюмым видом рассматривая свои плетеные сандалеты.

Как только заседание закрылось, он вскочил и, сутулясь, двинулся к дверям. В коридоре, оглянувшись на меня и Нежевлева, кинул угрюмо:

— Зайдите! — И побежал в кабинет.

Входим, шеф с треском захлопывает дверь и, быстро обернувшись к нам смятенно-бледным лицом, начинает кричать:

— Мне учиняют допрос, а вы отмалчиваетесь?! Черт бы вас побрал, таких помощников!

У Нежевлева от возмущения расширяются глаза, раздуваются ноздри:

— А что мы могли?..

— «Что они могли»! — передразнивает шеф и драматично взмахивает руками: — Нашу работу мешают с грязью, меня оскорбляют, а им — плевать на это на все! Эх вы! — бросает он нам.

Я говорю:

— Лев Андреич, а может, мы и в самом деле потопились, а?..

Но шеф отмахивается от меня, как от назойливой мухи.

— Каждому кретину ясно: они нам завидуют! Завидуют нашей известности, нашим работам! Да вся их наука, вместе взятая, не стоит ломаного гроша! Какие проблемы они решают? Что изучают? Покажите мне их результаты! Где у них новизна, где у них оригинальность, у этих интендантов от науки?! Да наш способ, внедри его хотя бы на одном-единственном заводе, такую прибыль даст, что полностью окупит все затраты этого, с позволения сказать, института!..

Мы ушли, когда шеф кинулся к столу и, схватив трубку, стал с жадностью ее раскуривать.

На улице Нежевлев и говорит мне:

— Видал? Сам во всем виноват, а собак вешает на нас... — Он горько усмехнулся. — Сколько раз говорил ему: прежде чем выходить на широкое внедрение, нужно шлаки всех заводов проверить на распад в лабораторных условиях! Но он игнорировал меня — и вот, пожалуйста, первые сюрпризы!.. А вы, Леонид Александрович, еще спорили со мной, защищали его...

— Но могут же быть неудачи,— говорю.— Вот приедем на заводы...

— Да бросьте вы,— говорит он и, с насмешкой посмотрев на меня, вздыхает:— Ну до чего же вы наивный человек...

И тут я разозлился:

— А, ну вас! — говорю.

...Отправляясь утром на работу, я представлял, с каким неприятным чувством встречу с шефом, но он обезоружил меня. Он влетел в кабинет бодрый, сияющий и, проходя мимо, потрепал по плечу меня и Нежевлева.

— Хорошая новость, ребята! Есть проект — утвердить наш институт головным по шлаковой проблеме! Нет, вы представляете?! Отныне всё: все планы, вся политика в области шлаков — всё будет проходить через нас! — Он кидается к телефону и начинает названивать директору.

Весь день он был в отличном настроении: шутил, рассказывал анекдоты и отъезжающим желал «ни пуха ни пера».

С собой в Свердловск он взял меня, и по его желанию поехали мы комфортабельно — в мягком купе...

В главке мы пробыли весь день. Я следовал за шефом из кабинета в кабинет и удивлялся, как просто удается ему расположить к себе всех этих занятых людей. С огромным, чемоданоподобным портфелем в руке он решительной поступью входил в кабинет и, не дав опомниться, начинал выгружать на стол образцы материалов и колб со шлаковым порошком. Ошеломив начальство потоком убедительной, красноречивой агитации в защиту новой технологии, шеф усаживался в кресло и, попыхи-вая трубкой, свойским дружеским тоном говорил, что, если внедрить «самораспад» на уральских заводах, — премия обеспечена всем, кто поможет пробить это дело. И этот оптимизм его речи, как видно, заразил работников главка: зазвонили телефоны, забежали по вызовам сотрудники с бумагами, к вышестоящим товарищам нас провожала уже целая группа заинтересованных лиц. Не потеряв без дела ни минуты, словно попав на «зеленую волну», уже после обеда мы попали к начальнику глав-

ка, я здесь, в обширном, отделанном под дуб кабинете, шеф при большом стечении работников различных рангов «исполнил» свой доклад. Увидев удивление и уважение на лицах должностных людей, я с волнением и гордостью за шефа подумал, что шлаки на заводах обязательно посыплются, не могут не посыпаться, и мне... мне просто стало стыдно за свои необоснованные сомнения...

Заручившись директивой главка о «всемерной помощи товарищу Фессеру в проведении заводских испытаний», мы сели в автобус и поехали на ближайший завод.

По прибытии на место оказалось, что директору завода не были нужны ни агитации шефа, ни директивы начальства, потому что на завод был спущен неожиданный и срочный план на шлаковые удобрения, когда же завод приступил к работе, то, как и предвидел шеф, дробилки и мельницы стали выходить из строя — и план оказался под угрозой срыва. Вот почему встретили нас на заводе с таким вниманием и подготовка испытаний по «самораспаду» была поставлена директором завода на уровень заданий по выплавке стали.

Мы приступили к работе, но первый же эксперимент насторожил нас: шлак не распадался. Проверили на распад шлаки всех марок стали, опробовали в качестве затравки не только известняк, но даже распадающийся шлак, специально сваренный для нас в литейном цехе, — все было тщетно. Два десятка черных, похожих на метеориты шлаковых глыб, разгруженных в тупике, лежали без малейших признаков распада, мучительно заставляя нас искать причину этой неудачи.

Должен сказать, что моя работа со спецлитературой не оказалась бесплодной: я довольно свободно чувствовал себя в теории шлаков и незадолго до отъезда на «Спецсталь» поспорил с Фессером об одном, не очень-то существенном, как мне тогда казалось, положении его гипотезы. Речь шла о пятиокиси фосфора в шлаках. Из-за малости его содержания в шлаке шеф фосфор не учитывал, я же с горячностью доказывал, что и эту малость необходимо учитывать. Теперь, размышляя о причинах неудач, я вновь подумал о фосфоре. И когда с других заводов — от Гусаровой, Сперантовой и Нежевых, которые поддерживали с нами телефонную связь, — стали поступать сигналы о таких же точно не-

удачах, когда, сравнив анализы шлаков, я убедился, что на заводах Свердловской области содержание фосфора в шлаке повышенное,— я кинулся в библиотеку. Я прокопался в журнальных подшивках весь день и весь вечер и нашел-таки подтверждение своей догадке: профессор Торопов писал в своих работах, что сильнейшим средством против силикатного распада является добавка фосфора!

И вот я врываюсь в гостиничный номер к шефу и кричу:

— Эврика, Лев Андренч! Я, кажется, знаю, отчего не рассыпается шлак!

Шеф, больше обычного сутулый и задумчивый, мрачно расхаживает по комнате.

— У? — произносит он, рассеянно взглянув на меня. — Ну что там у тебя, выкладывай.

Возбужденно бегая по комнате и размахивая руками, я объясняю:

— Фосфор, Лев Андренч! В нем собака зарыта! Профессор Торопов показал, что даже один процент пятиоксида фосфора способен полностью предотвратить силикатный распад!

— Ерунда,— вяло отзывается шеф. — В шлаках нашего завода фосфора около одного процента, а они прекрасно распадаются.

— Нет,— говорю,— в шлаках нашего завода фосфора не больше половины восьмью процента!

— А, какая там разница! — морщится шеф.

Я не унимаюсь:

— Значит, есть все же разница! Между прочим, в шлаках свердловских заводов фосфора везде больше процента. Вот, смотрите,— и я кладу перед ним листок с химическими анализами.

Задумчиво посасывая трубку, он спрашивает:

— Что предлагаешь?

— Приостановить заводские испытания,— говорю,— вернуться в институт и самым подробным образом исследовать влияние фосфора на распад!

— Ты говоришь ерунду! — гневно дергается шеф и хлопает ладонью по столу. — Там, где не пойдет способ «самораспада», пойдет «известковый» способ! Будем внедрять «известковый»!

Кстати говоря, «известковый» способ, который Фессер

предложил и опробовал в первые дни неудач на здешнем заводе, требовал огромного расхода известняковой крошки, вредные газы, выделяющиеся при этом, заражали воздух в цехе, к тому же для распада горячий шлак необходимо было поливать водой. И даже при таких условиях разложение шлака продолжалось несколько дней, а шлаковый продукт получался грубым, как крупный песок. Ну разве можно было сравнивать известковый способ с изящным и эффективным способом «самораспада»?

Сразу же остывая, я недовольно говорю:

— Да кто же его станет внедрять?.. Опозоримся только.

— Ничего,— успокоительно кивает головой шеф.— Это, во всяком случае, лучше, чем дробить отвалы шлака в дробилках.

— Но почему,— с упреком говорю я ему,— почему вы не хотите попытаться изолировать этот чертов фосфор? Ну, потеряем на этом какое-то время. Зато какой эффект!

Шеф сумрачно вздыхает и, тяжело навалившись на стол, говорит:

— *Ars longa, vita brevis!* Наука длинна, а жизнь коротка, дружище. Конечно, в твои годы можно вообще начать новую жизнь. А что касается меня... Лучшие годы моей жизни, Ленья, прошли ты знаешь где...— Попыхивая трубкой, он прикрывает глаза, и когда открывает их вновь, голос у него звучит устало, обреченно: — Дай бог, Ленья, если мне удастся протянуть с десяток лет! А кто из людей не стремится оставить после себя хоть что-нибудь! Это стремление, вероятно, сильнее, чем жажда получить наследство.— Фессер отваливается на спинку стула и, расслабленно улыбаясь, продолжает: — Так что выход у меня один — играть ва-банк! А все эти ковыряния в десятых долях процента фосфора, все это после, потом, когда меня признают, когда откроют для меня институт... Сейчас мне важен факт сам по себе, что шлак можно измельчать химическим путем. А каким именно способом — затравкой ли кристаллизации или же за счет гидратации извести — это не имеет принципиального значения. Был бы результат — теорию я под него подведу. Так-то вот, Ленья. А ты, коли будешь толковым парнем, получишь скоро лабораторию.— Он мечтательно

улыбается и, поднимая брови, говорит: — Представляешь: ты — молодой кандидат, и завлабораторией! А?! Завидую я тебе, Леня, ах как завидую!..

Я понял: спорить с ним бесполезно, и, простившись, ушел к себе со странной смесью досады и жалости к этому человеку.

...Нужно ли говорить, что все эти дни с момента расставания с Наташей я постоянно думал о ней, я не мог не думать, я часто видел ее во сне и то и дело вспоминал, как далекое светлое прошлое, все наши встречи, одну за другой... У себя в номере я подошел к окну, за которым мерцало в лунном свете спокойное озеро. Мне вдруг так захотелось сесть, написать Наташе письмо! И вот я сажусь и торопливо, на одном, что называется дыхании, пишу ей...

Говорят, письма влюбленных всегда талантливы, не знаю... Я не помню, что я в нем писал, но знаю, что писал я о своей любви, одновременно это было прощальное письмо, потому что я не хотел больше быть навязчивым и дал себе слово больше не искать с нею встреч. Впрочем, когда я бросил конверт в почтовый ящик и, вернувшись, погасил ночник, я понял, что писал не столько о своей любви, сколько о своем великом горе, и понимаю... мне так стало жалко себя, что хотелось зареветь...

...Ну, а на следующий день, подгоняемый шефом, я навалился на способ известкового распада. Целыми днями пропадая в мартене, я страдал от нестерпимой, удушающе сухой жары, от ослепляющей стали, от падающей за шиворот и в глаза известняковой пыли, от раздражающего грохота завалочных машин, но больше всего — от сознания никчемности и бесполезности своей работы...

А кончилось все тем, что директор не признал эффективности известкового распада и акт, заготовленный шефом, отказался подписать категорически. Разъяренный Фессер пригрозил ему и, отправив меня домой, в институт, покати́л в Свердловск доказывать руководителям главка и обкома «преимущества» нового способа. И при мысли о том, что он, пожалуй, своим красноречием сумеет доказать, что хочет, я вдруг впервые испытал к нему смутную неприязнь...

...Я думал, что своим письмом подвел черту нашим

отношениям с Наташей, но я ошибся... Прихожу в лабораторию, мне говорят, что звонила какая-то Наташа и просила передать, чтобы я ей позвонил. У меня даже руки похолодели от волнения. Бегу к телефону шефа, набираю знакомый номер и слышу голос Наташи:

— Здравствуй, Леня. Я хотела бы с тобой поговорить.

— Ты уже приехала? — задаю я дурацкий вопрос.

— Да, позавчера... Ты свободен сегодня?

— Зачем об этом спрашивать? — говорю. — Где я тебя увижу?

— Давай в скверике. В шесть часов. Хорошо?

В скверике я появился без четверти шесть. Поглядываю на часы, волнуясь и медленно хожу вокруг фонтана. После дождя асфальтовая площадка сквера блестит, как залитая черным лаком, и в этом черном зеркале ясно отражаются чугунные скамьи, кустарники, фигуры прохожих. Главная аллея уходит вдаль, и там, за высокими домами, я вижу, садится солнце, окрашивая небо мутновато-багровым закатом. Со стороны проспекта слышу уканье троллейбусов и влажное шуршание шин. Чувствуя, меня слегка познабливает...

Вдруг вижу Наташу в конце аллеи. Я устремляюсь навстречу, ласково хватаю ее за руку, увлекаю к скамье.

— Садись, — говорю, — здесь просохло. — И, не выпуская ее руки, говорю, улыбаясь неверной, нарочито веселой улыбкой: — А я вчера вечером из командировки приехал... Я не знал, что ты уже вернулась, и вдруг мне говорят, что звонила ты...

Я говорю и замечаю: взгляд ее, без тели улыбки, предвещает нечто другое, чем то, что я хотел и что надеялся услышать. Но чтоб продлить неведение свое, свою надежду, я говорю, говорю какие-то ненужные, необязательные фразы:

— Как отдохнула? Хорошо? Да, море — это прекрасно... Ты отлично загорела и вообще... выглядишь чудесно... Ты получила мое письмо?

Она говорит, тихо и очень серьезно:

— Да, спасибо... Наверно, я не заслужила такого письма. Ты написал хорошее письмо...

Но я чувствую — по виду ее, по выражению лица — чувствую, понимаю, что ей совсем другое хочется сказать, только сказать это трудно, и она все медлит и медлит...

Наконец она решается произнести эти слова.

— Ленья,— говорит она, слегка бледнея и глядя на меня,— мы с Вадимом вчера расписались.— И торопливо договаривает: — Мне было бы приятно видеть тебя на свадьбе... Ты придешь?

И, выпустив ее руку, я говорю вдруг осипшим голосом:

— Нет, не приду. А тебе... тебе желаю счастья.

Я поднимаюсь, но прежде чем уйти, говорю... может быть, это и банально, то, что я сказал, но сказал я от души:

— Если тебе когда-нибудь придется плохо, помни, что... что у тебя есть друг. Прощай...

Понимаешь, старик... я много думал о Наташе, тогда и после... Многое мне и теперь неясно. И все-таки, мне кажется, она не любила Вадима... Бывает так: любви нет, а замуж выходить пора, потому что юность уходит... И вот, в такое время, встретился ей Вадим. Вероятно, он любил ее по-настоящему. Чем-то и он нравился ей, не знаю... И вот она дает согласие на брак... И тут знакомится со мной. Может быть, я тоже ей чем-то понравился, судить не берусь... Она начинает делать невольные сравнения. Иногда эти сравнения были в мою пользу, иногда не в мою... Мне кажется, Наташа прежде всего ценила в людях интеллигентность. И Вадим в этом смысле был, наверное, выше меня. В конце концов, его пижонство, которое мне бросилось в глаза при первой и единственной нашей встрече, могло быть наносным, даже намеренным... Во всяком случае, своим внешним видом, манерами, образованием он выгодно отличался от меня. Ведь я... Ну, что там говорить. Последнее время я немножко пообтесался, а так... Ну, что я представлял собой в то время? Обыкновенный технарь.

Как-то с Наташей слушали в филармонии скрипичный концерт и я, как абсолютный профан, паузу между частями принял за конец и зааплодировал при гробовом молчании зала. Наташа не знала, куда себя деть от стыда за меня... Таких казусов случалось со мной немало... Короче говоря, старик, все кончилось для меня плачевным образом: Наташа вышла замуж за Вадима...

Что и говорить, мысль об этом была для меня мучительна и обидна до слез, но постепенно я начал свыкаться со своим положением. Я жил и работал, как живут и ра-

ботаю люди, потерявшие близкого человека, стараясь не думать и не вспоминать об этом, но с постоянным тягостным ощущением этой утраты. Весь октябрь мы трудились над «известковым» способом, и это тяготило и раздражало меня. Я сделал еще одну попытку уговорить шефа заняться фосфором, но он оборвал меня: «Не морочь голову своим фосфором!..» Отправив Нежевлевых в Тагил, а Сперантову — на завод Орджоникидзе внедрять «известковый» способ, шеф, еще в начале октября, уехал отдыхать на Черное море... И вот тогда-то и произошло еще одно ЧП у нас в лаборатории...

В тот день вернулся из командировки Нежевлев. В новеньком, с иголки, костюме, свежевыбритый, надушенный «Шипром», он с победно-снисходительным видом здоровается со мной за руку и принимается расспрашивать о делах. Я рассказал и говорю:

— Короче, «известковый» способ — тоска зеленая. А вы как считаете?

— «Известковый»? — переспрашивает Нежевлев и, взморщив лоб, ухмыляется: — Очередная химера нашего уважаемого шефа. Этот способ экономически себя не оправдывает.

— Как, — спрашиваю, — разве и в Тагиле его не признали?

— Признали, не признали, — говорит он мне с легкой усмешкой, — но акт о его успешной проверке я привез. — И, обернувшись, хлопает ладонью по кожаной папке на столе.

— Как же так? — спрашиваю, не сразу поняв, в чем тут дело.

— Так, — с той же легкой усмешечкой отвечает Нежевлев. — Убедить удалось товарищей.

Я говорю:

— Но вы же... вы только что сказали, что это химера.

— А, — говорит, — плевать я хотел на это дело. Мне — лишь бы шеф не орал. Раньше я пытался ему доказывать, спорил, а теперь убедился: на встречный ветер не плюют...

Я смотрю на Нежевлева и не знаю, что сказать.

— Вот так, Леонид Александрович! — произносит Нежевлев и, достав папиросу, закуривает. — Для Фесера ничего святого не существует. Во имя цели (а цель

у него одна — слава) он на все готов, на любую авантюру.

— Я не считаю его авантюристом, — говорю. — То, что он спешит, разбрасывается — да. Но авантюрист... Разве может авантюрист родить такую блестящую идею? Ведь если бы он согласился доработать этот способ...

— Да зачем ему это? — Нежевлев усмехается и пожимает плечами. — Не в его правилах — копаться в мелочах. Ему бы только пенки снять. Он мне сам сказал, сам признался, что он не исследователь, а изобретатель. Шлаки — целина, вот он и кинулся туда за поживой...

Вдруг за спиной Нежевлева звякает телефон, он оборачивается и поднимает трубку:

— Нежевлев... А-а-а, привет!.. Сегодня ночью, а что?.. — Его глаза, только что благодушно-спокойные, тревожно расширяются, и он почти уже кричит: — Что-о?! Погоди-погоди. Я сейчас спущусь. — Он бросает трубку на рычаг и бежит к дверям, скользнув по мне невидящим взглядом.

«Ну, — думаю, — опять что-то стряслось». Я принимаюсь за работу, но дело не клеится. Настроение паршивое, а тут еще гудит за стеной вентилятор, нудно, как глупая сирена...

Нежевлев возвращается бледный, с трясущимися губами. Он опускается на стул и спрашивает:

— Это ваша идея — использовать в качестве затравки порошковый шлак?

Я удивленно киваю.

— Так вот, — как будто даже с удовольствием продолжает Нежевлев. — Теперь это уже не ваша идея. Шеф оформил на нее заявку и отправил в Комитет изобретений.

— Не может быть, — говорю.

— А статью вы помните, которую мы с вами написали о скорости распада шлака? — спрашивает он деланно невозмутимым тоном. — Ну вот. И эту статью он отослал в журнал совсем в другом соавторстве. Там нет ни моей, ни вашей фамилии. Зато там красуются фамилии Гусаровой и Выюгина... Копии статьи и заявки я только что видел собственными глазами!

— Это же подло! — я вскакиваю. — Пошли к директору!

Нежевлев нехотя поднимается и, идя вслед за мной, говорит:

— Правильно. Михаилу Романовичу давно пора узнать о всех его художествах!

Мы спускаемся по лестнице, меня раздражает беспешное вышагивание Нежевлева и его вдруг ставшее бесстрастным лицо. На площадке второго этажа он скидывает к глазам часы и озадаченно останавливается.

— Эх, черт!— говорит.— Чуть не забыл. У меня же заказан междугородный разговор с супругой. Вы идите, Леонид Александрович, а я попозже подойду.— И, взглянув на меня, поворачивает назад.

В дверях приемной я вдруг сталкиваюсь с Саградовым.

— Куда это вы несетесь?— спрашивает он, с улыбкой оглядев меня.

— Да вот,— говорю,— к директору. Обстановка невозможная в лаборатории. Так нельзя дальше работать.

Саградов удивленно поднимает брови:

— А разве Фессер уже вернулся?

— Нет еще,— говорю и машу рукой:— А-а, мне теперь все равно!

Секунду Саградов испытующе смотрит на меня, потом говорит:

— Ну-ну... Тогда пошли вместе. Я тоже к Голосову.— Он открывает двойную директорскую дверь и, входя, энергично спрашивает:— Разрешите?..

Мы входим и садимся в кресла, Саградов у самого стола, а я у окна.

Директор, проницательно взглянув на меня, спрашивает отеческим тоном:

— Что случилось-то, а?

— Мы... то есть я,— начинаю я сбивчиво и чувствую, что у меня даже во рту пересохло,— я пришел к вам не как к директору, а как к старшему товарищу, за советом... В нашей лаборатории такая сложилась обстановка... Но я по порядку. Понимаете, работать с Львом Андренчем интересно, ничего не скажешь. Он умеет увлечь, и мы, его сотрудники, делали все, чтобы он был доволен нами... Сначала все шло нормально. То есть были, конечно, мелкие неурядицы. Но у кого их не

бывает... Главным была для нас работа. И мы... ну, вот я, например, и другие, верили в идеи, в знания Льва Андреича, в его научную порядочность, что ли... И вдруг оказалось: после того как мы надавали столько обещаний, «самораспад» больше не пошел, кроме нашего завода и «Спецстали». И вот, вместо того чтобы исследовать причины...

Тут Голосов нетерпеливым жестом прерывает меня:

— Лев Андреич мне рассказывал о ваших неудачах. Но он же предложил другой способ. Как его... «известковый», кажется?

— Да разве это научный способ!..

Я рассказываю, что собой представляет новая идея шефа, и, выслушав меня, директор говорит, переводя хитровато прищуренные глаза на Саградова:

— Не попасть бы нам впросак с Фессером. Расшумелся на весь свет, наобещал с три короба... Что мы теперь директорам заводов скажем, а?

— Это нужно у автора спросить,—хладнокровно отвскачет Саградов, сделав выразительный жест.

— В министерстве от него без ума,—усмехается директор,—от секретаря до замминистра. Голыми руками его не возьмешь...

— И все-таки, Михаил Романыч, пора сделать выводы,—озабоченно хмурясь, говорит Саградов.

— Фессер, кажется, собирается свой институт открывать в Свердловске?—посматривая то на Саградова, то на меня, говорит Голосов.

— Да,—кивает Саградов,—решение такое было...

Пользуясь паузой, я говорю о том, что все еще вертится у меня на уме:

— И потом еще такое дело... Мы вместе с Нежевым написали статью, Фессер сам говорил, что это первая моя самостоятельная работа, а когда редактировал ее, то вычеркнул наши фамилии и вписал другие. Мы только сейчас случайно узнали...

— Кого же он вписал-то?—с насмешливым любопытством спрашивает директор.

Я говорю:

— Гусарову и Вьюгина...

Тут открывается дверь, и входит зам по науке Вьюгин — маленький, худой, с русой курчавой головой и болезненно-серым лицом. Прямой, почти марширую-

шей походкой он проходит к столу и, кинув на меня холодный взгляд, останавливается позади Саградова.

— У тебя совещание?— небрежно спрашивает он директора.

— Да вроде этого,— усмехается Голосов.— Товарищи вот пришли ко мне по фессеровским делам...

— Не понимаю, как можно приходить по делам Фессера в его отсутствие,— отчеканивает Выюгин и, достав из кармана пиджака коробку папирос, закуривает, сверкнув изящной зажигалкой.

— Товарищ Вересов вот,— кивает на меня директор,— говорит — обижает Лев Андреич своих помощников. Работают вместе, а в соавторы он берет других...

Выюгин стряхивает в хрустальную пепельницу пепел с папиросы и, подняв на директора маленькие умные глаза, говорит:

— Фессеру как научному руководителю самому дано право решать, кого брать в соавторы и брать ли вообще... А о каких, собственно, трудах идет речь?

Я говорю:

— О статье, посвященной скорости распада шлака.

Даже не взглянув в мою сторону, Выюгин поясняет директору:

— Статья носит теоретический характер. Мы начали писать ее со Львом Андреичем, когда еще товарища Вересова и в институте не было.

Я растерянно бормочу:

— Как же так... может быть, вы другую статью имеете в виду? Но в этой... все материалы, теплотехнический расчет, все мы делали с Нежевлевым...

И тут вдруг вмешивается Саградов.

— Знаете, я не согласен с вами, Александр Иванович,— говорит он, обернувшись к Выюгину.— Дело, в общем-то, даже не в статье,— он встает и, подойдя ко мне, садится рядом, чтобы видеть Выюгина.— Как хотите, но поручить соавторам написать статью, а после тихонько вычеркнуть их фамилии — это просто наглость, если называть вещи своими именами.

— Вы ошибаетесь, Сергей Павлович,— отчеканивает Выюгин и, отойдя к противоположной стене, садится в кресло, закинув ногу на ногу.

— Творческое участие Вересова и Нежевлева будет подтверждено научно-техническим отчетом.

— Ну, знаете ли!—Саградов делает энергичный жест, ища сравнения, и продолжает:—Это было бы равносильно тому, чтобы деятельность актера ограничивать одними репетициями, а на спектакль его не допускать. Формально ведь он участвует в постановке...

— Ваш пример не к месту,—недовольно морщится Вьюгин.

— Почему же не к месту? Фессер и в соавторы их не берет, и самостоятельно не дает публиковаться. А отчет—это не больше как репетиция. Вы знаете лучше меня, что отчет не считают печатным трудом... Мне представляется, что такой человек, как Фессер, не может быть научным руководителем. Не может по принципиальным соображениям...—Твердые глаза Саградова, не отрываясь, смотрят на Вьюгина, и этот взгляд, наверное, не очень нравится заму: он с такой силой затягивается папирсой, что щеки его образуют воронку.

— Совершенно с вами не согласен,—сдержанно отвечает Вьюгин, покачивая головой.—Лично я знаю Льва Андреича как весьма талантливого человека, не лишенного, впрочем, некоторых недостатков характера. Но я глубоко убежден, что молодые, а тем более начинающие сотрудники—именно они должны подстраиваться к характеру своего руководителя, а не наоборот...

— Даже в том случае, если он, мягко выражаясь, не совсем честен?—в упор спрашивает Саградов, но его перебивает директор.

— Талантливый-то он талантливый, да только талант его не к тому месту пришит... Ты слышал,—насмешливо хмыкнув, обращается он к Вьюгину,—на водах-то у него опять дело не клеится...

Чувствуя, что я здесь лишний, я поднимаюсь, расстроенно говорю:

— Я пойду, Михал Романыч...

— Да-да,—кивает мне Голосов.—Мы тут посоветуемся, решим...

В приемной кидается мне навстречу Нежевлев.

— Уже кончили?—спрашивает он фальшивым голосом, но я, не глядя, обхожу его, как посторонний предмет.

«Как же я мог?—вдруг спросил я себя в припадке

внезапного стыда и запоздалого раскаяния.— Злость? Обида? Уязвленное самолюбие? Ну и высказал бы самому Фессеру, в глаза... А так... Какая гадость!»

Честно говоря, старик, я самому себе стал противен...

Дня через два вернулся из отпуска Фессер, и разразилась гроза. Он вызывает Нежевлева и меня и, едва мы только входим в кабинет, начинает орать:

— А, кипит твое молоко! Доносы строчить! Кляузничать?! Наушничать?! Я вам покажу! Я вам устрою веселую жизнь!

— Какие доносы?— пытается было вставить Нежевлев, но шеф, не слушая его, бросает гневно:

— Мало я для вас, мерзавцев, сделал?! Кто бы знал о вас, если бы не я? Я сделал вам имя. Я дал вам большие оклады. О вас в газетах пишут, по радио говорят! Вам мало?! Так что же вы еще хотите? Что, я вас спрашиваю?!

Я нервно говорю ему:

— Мы хотим, чтобы вы считались с нами, доверяли нам!

— Он еще осмеливается говорить о доверии!— бросает мне шеф.— Я все знаю! Все!!— Он мечется по кабинету, потрясая сжатыми кулаками, и его побледневшие щеки дрожат от крика и ярости.— Да разве бы вы не могли, если бы вы были людьми, сказать мне о своих претензиях открыто?!

И, озлобляясь от слов и неистовых метаний Фессера по кабинету, я тоже начинаю кричать:

— Мы говорили вам!

— О чем? Что вы говорили мне?!— спрашивает он с угрозой и останавливается передо мной, уперев руки в бока.— Ну!!

— О том, что нужно временно прекратить эксперименты на заводах!— выговариваю я с ожесточением.— О том, что надо, наконец, найти и устранить причину неудач! О том, что «известковый» способ— халтура и обман! А разве он,— киваю я на сумрачно молчащего Нежевлева,— не говорил вам о том же? А вы? Вы...

— Ах, вон как!— опять начинает кричать и метаться по комнате шеф.— Вам хотелось, чтобы я плясал под вашу дудку! Вы этого хотели от меня? Да не слыш-

ком ли много вы возомнили о себе, друзья хорошие! Ах, вам не нравится, что я не беру вас в соавторы? А за что я должен брать вас в соавторы? Есть у вас хоть на грош собственных идей? Их нет у вас! А исполнителей я не беру в соавторы — таков мой принцип! Вам не нравится мой принцип? Ну и катитесь к чертовой матери! Я других наберу! Без аршинных запросов!

— Прекратите орать!!— я неосознанно взмахиваю ладонью перед бледным, дрожащим злобой лицом.

Шеф замирает на мгновение. Глаза его за стеклами очков блестят нехорошим, темным блеском, кажется, он вот-вот ударит меня. Но он, вдруг грубо выругавшись, отворачивается и отскакивает от меня в дальний угол.

Я распахиваю дверь, но, прежде чем уйти, бросаю шефу:

— Между прочим, Лев Андренч, вы отлично знаете, что это не только ваша идея — использовать распавшийся шлак!..

Естественно, от шефа я ушел. Я перевелся в лабораторию Науменко и вот уже полгода занимаюсь изучением влияния фосфора на шлаковый самораспад, ведь что ни говори, а идея Фессера — сильная идея, и рано или поздно я доведу до ума этот способ!..

Ну, что тебе еще рассказать?.. Роман уехал вскоре... Пишет, что попал в отличный коллектив. Женился, работает над докторской диссертацией. Шлаковую тематику у нас закрыли, потому что Фессер уехал в Свердловск организовывать институт. Только я сомневаюсь, чтобы у него получилось что-нибудь путное... Ольгу Ивановну он забрал с собой и, разумеется, — Нежевлевых, ведь милые бранятся — только тешатся... Сперантова ушла на завод...

Вот, кажется, и все... Наташу? Нет, я не встречал ее больше. Ее подруга Ирина говорила, что Наташа с мужем уехала куда-то на Север, по-моему, на Диксон, ведь ее Вадим — горный инженер, а там крупные шахтеразработки...

Вот так, старик, происходило мое приобщение к науке, а точнее говоря, к жизни более сложной, чем та, которую я знал раньше...

Конкурс

Эту новость, как и всякую другую, принесла в лабораторию всезнающая Лялечка Ляляева. В разгар рабочего дня дверь к сотрудникам Лианова вдруг шумно распахнулась, и в комнату влетела Лялечка — хрупкое, почти воздушное создание с копной соломенных волос, закрученных в пушистые кудряшки.

— Ой, ребята-а! Я что знаю, что знаю! Ни за что не догадаетесь! — вскричала Лялечка и аж подпрыгнула от возбуждения.

— Что, — спросил бородатый, для солидности, Грассик, отрываясь от своих расчетов, — опять кто-нибудь умер? — И, глядя в недоуменные глаза Ляляевой, флегматично пояснил: — Прошлый раз, когда ты прибежала с вестью о кончине Дронова, у тебя была такая же счастливая физиономия.

— Грассик! Не ехидничай! — бросила Ляляева, показав ему спину. — Нет, вы представляете? К нам в лабораторию принимают кандидата!

— Какого кандидата? — ворчливо перебила Аля Стружкина, лихорадочно бегая пальцами по клавишам электронно-счетной машинки. — У нас же нет вакансий.

— Для нужного человека вакансия всегда найдется, — с усмешечкой заметил Грассик, сделав ударение на слове «нужного». Но Ляляева, не обращая на него внимания, увлеченно тараторила:

— Забегаю я в приемную к Галке и вдруг вижу — мужчина!.. Ой, девочки, какой же он симпатичный! Высокий! Молодой! Элегантный!.. Честное слово, в нем что-то онегинское чувствуется... Я думала, какой-нибудь корреспондент, из Москвы, а Галка мне шепчет: «Новый сотрудник. Кандидат наук. Оформляется в вашу лабораторию». Я так и ахнула!..

— А он не услышал?—спросил обеспокоенно Грассик.

— Что «не услышал»?— обернулась Лялечка.

— Как ты ахнула...

— А ну тебя, Грассик!—сердито отмахнулась Лялечка и, обегая глазами коллег, жизнерадостно продолжала:—Лена-кадровичка сказала, что у него один только список трудов—целых три машинописных страницы и свидетельств на изобретение—тоже дополна. Уж он-то нос утрет кое-кому из наших доморощенных корифеев!—злорадно добавила Ляля в сторону Грассика, но он лишь хмыкнул на ее слова.

— Страшно интересно!—насмешливо пробормотала Стружкина, не глядя на Ляляеву, а Грассик спросил:

— Ляля, надеюсь, ты не упустила случая узнать, женат он или холост?

— А ты думаешь, это кого-нибудь интересует?—вмешалась Светлана Рассудова, молодая и, по общему мнению, самая красивая женщина в институте.

— Как знать, как знать,—многозначительно улыбнулся Грассик, намекая на то, что женский персонал лаборатории по преимуществу не замужем, и в том числе—сама Рассудова...

— И откуда же взялся этот Онегин?—с видимым равнодушием спросила Светлана.

— С какого-то родственного нашему уральского НИИ,—сказала Лялечка.

— Летун какой-нибудь, наверняка!—определила Стружкина, действуя на клавишах машинки, как Рихтер на рояле.

— Постой-постой,—вспоминающе нахмурился Грассик.—Ляля, ты говоришь—он с Урала? А фамилию его ты не знаешь, случайно?..

Ляля закатила кверху глаза, хлопнула себя по лбу и сказала:

— О! Вспомнила! Надеждин!

— Так вон это кто!—присвистнул Грассик и качнул головой.

— Валентин, это не тот ли самый Надеждин? Ученик профессора Орлова?—подавал голос наконец и Саша Астраханцев—аккуратист и скромница, своей подтянутой фигурой и юным, румяным лицом напоминав-

ший скорее студента, чем научного сотрудника с пятилетним стажем.

И Грассик, чей стол был впереди стола Астраханцева, обернувшись, сказал:

— Похоже, он и есть...

— Ну, если тот, то парень он стоящий,— обрадовался Саша.— Валентин, ведь ты помнишь его доклад на Ленинградской конференции по жаробетону? В прошлом году?..

Грассик кивнул.

— Он произвел впечатление не только на тебя, но и на наше министерское начальство, что гораздо важнее...

При этих словах Аля Стружкина, прекратив терзать машинку, озадаченно проговорила:

— То-то Борис Иванович все хлопотал взять к себе с Урала какого-то спеца в области жаростойких материалов...

— Мне думается, Борис не ошибся,— тотчас подхватил Грассик.— Надеждин — парень пробивной, а именно такой и нужен, чтобы двинуть газоплазменное напыление...

— Если он действительно толковый спец, то вряд ли согласится на роль рабочей лошадки,— как бы между прочим вставила Рассудова, рассматривая в зеркальце свое красивое лицо.

— Не волнуйся,— улыбнулся Грассик.— Он уже согласился. Иначе бы его не взяли...

— Выходит, его берут в твой сектор, Грассик,— сказала Стружкина, которая работала в соседнем секторе, а сюда зашла посчитать на машинке.— Слава богу: мы варягов не любим!

— А мы — любим: у них здоровая кровь,— смеясь, ответил Грассик.

— Спасибо за машинку,— Стружкина, забрав бумаги с расчетами, пошла было к дверям.

— Спасибом не отделаешься,— кинул ей Грассик.

— Ладно уж,— сказала Стружкина.— Притащу тебе завтра пачку «Кемел».

— Ой, девочки, чуть не забыла!— Ляляева сделала широкие глаза.— Ведь нашего полку еще прибыло: Борис Иваныч принял аспирантку-очницу!

— На сей раз ты опоздала, Лялечка,— мягко воз-

разила ей Рассудова.— Мы уже имели удовольствие лицезреть эту аспирантку. Она только что была здесь. И мы даже знаем, что зовут ее Алла Львова.

— Но вы еще не все знаете,— таинственно улыбнулась Лялева и, сделав эффектную паузу, закончила:— Алла Львова — птичка не простая. Она — супруга нашего дражайшего Бориса Ивановича!

— Как?!— воскликнула Рассудова.

— Не может быть!— удивился Астраханцев.

— Господи! Америку открыла!— донеслось от дверей хриловатое контральто Стружкиной. Она стояла — руки в бока, и в этой позе, со своей кряжистой фигурой, пухлым лицом и нагловато-выпуклыми глазами, была похожа на скандальную торговку.

— Разве вы не знали?— Грассик с небрежным удивлением посмотрел на Астраханцева, потом на Рассудову.

— Но ведь она была в аспирантуре Политехнического.— Красивая, точеная рука Рассудовой, сжимавшая зеркальце, медленно опустилась на стол, заваленный бумагами.— Зачем же она ушла оттуда?

— Очень просто объяснить,— сказала Лялева.— Там ей не светила диссертация...

— Чего мелешь?— оборвала Стружкина.— Если хочешь знать, Алла потому к нам перешла, что на кафедре Полторацкого, где она училась, нет нагревательных стендов, а тема ее диссертации связана с высокотемпературным нагревом...

— А я что сказала?— обернулась к Стружкиной Лялева.— То же самое: что там ей не светила диссертация...

— «Это неэтично, нетактично, вам говорят»,— процитировал Астраханцев, покачивая головой.

— Не волнуйся, Саша,— успокоительно, но с оттенком иронии пророкотал Грассик.— Борис знает, что делает...

— Вот именно!— подхватила Стружкина.— У Бориса Ивановича — разрешение Скипидарова, это раз. А во-вторых, аспиранты в штат лаборатории не входят! Так что ничего здесь неэтичного нет! Понял, Астраханцев?.. Привет!— И она выскользнула в дверь.

— Но ведь ей экспериментировать нужно,— в замешательстве продолжал Астраханцев.— Ей нужны рабо-

чие, лаборанты, а у нас на трех сотрудников — один лаборант и половина рабочего. Как же делить этот тришкин кафтан?

— Не волнуйся, Борис Иванович разделит, — иронически хмыкнул Грассик.

— Ах, Саша, — улыбнулась Рассудова. — Ты забываешь святую супружескую заповедь...

— Какую еще заповедь? — сморщился Саша.

— Муж да поможет родной жене...

— В общем так: и в этой пятилетке не видать нам своих диссертаций как собственных ушей! — Астраханцев грустно вздохнул.

— Товарищ Астраханцев! — с шутливой строгостью сказал ему Грассик. — Разве цель всей вашей работы — собственная диссертация? Вы план должны давать!

— На чем давать? — уныло посмотрел на него Саша. — На бумаге? Стенд-то опять будет занят...

Ляля подошла к Астраханцеву и провела ладонью по его ершистой голове.

— Сашенька, нельзя так мрачно смотреть на жизнь!..

В ту же секунду затрещал телефон на тумбочке, стоящей у стены, и Ляля, оказавшись рядом, вскинула трубку к уху:

— Алло. Восьмая лаборатория слушает... Борис Иванович?.. Должен быть у себя... Минуточку, я его сейчас найду... Хорошо, передам. — Ляля положила трубку на рычаг и, направляясь к дверям, радостно сообщила: — Шефа вызывают к директору. Наверняка по поводу Надеждина! — Она поспешно скрылась за дверью, но спустя мгновение, просунув голову в щель, чтобы поделиться еще одной новостью: — Да, ребята! В наш буфет привезли лососину в баночках!..

А в это самое время в кабинет директора НИИ Валунова входил молодой, симпатичный мужчина, одетый в элегантного покроя, светлый (ибо наступила жаркая весна) костюм, черноволосый, с чуть удлиненным, интеллигентным лицом и с черными, подстриженными бачками. Это и был новоприбывший Надеждин. Держался он естественно, свободно, как хороший актер на сцене, и, судя по весело блестящим глазам, был в са-

мом радужном настроении. В руке он держал изящный портфель с золоченой пряжкой.

— Разрешите?— Голос у него был звучным и бодрым.

— Входи, входи,— ворчливо-простецким тоном ответил в одиночестве сидевший за своим столом довольно плотный, плечистый человек неопределенного возраста с грубоватыми чертами моложавого лица и медлительной, с расстановкой, речью сельского жителя. Его характер отличался простодушием, однако же он тщательно скрывал его под маской этакой мужиковатой ворчливости, отчего немало сотрудников считали его букой. На полированной столешнице, кроме бумаг, которые сейчас подписывал директор, и письменного прибора в виде трех готовых к старту ракет-авторучек, ничего больше не было.— Как добрался-то?— спросил Валунов, обмениваясь с Надеждиным рукопожатием и кивая на кресло.

— Спасибо,— садясь и ставя к ногам портфель, улыбнулся Надеждин,— впереди звука.

— Какого звука?— не понял Валунов.

— Я летел на сверхзвуковом.— Надеждин достал сигарету.— Вы позволите?..

— Вообще-то, нежелательно,— поморщился Валунов.

— Извините.— Надеждин спрятал сигарету в нагрудный карман и, показывая глазами на тумбочку, где подле селектора-телефона сверкала хрусталем огромная пепельница, спросил:— А это изделие вы, вероятно, держите как сувенир?..

— Да, это для начальства,— простодушно пояснил директор. Выдвинув ящик стола, он извлек оттуда связку ключей и протянул их Надеждину:— Вот тебе ключи от квартиры.

Надеждин взял ключи и, рассматривая их, как талисман, мечтательно заметил:

— Не правда ли, есть что-то символическое в этом предмете?.. Ключ от двери... Интересно, какой двери?..

— Двери у нас стандартные,— без улыбки буркнул Валунов.— Внутри полупустые, снаружи фанерой оклеены...

— Нет, я имею в виду, что откроется мне за новой дверью...

— Квартира из двух комнат, как договаривались. Двадцать три квадратных метра. Второй этаж. Балкон. Окна выходят на речку. Все удобства. Газ. Горячая вода. Телефон. Санузел раздельный...

Легкая грусть подернула лицо Надеждина:

— Спасибо, Иван Степаныч. Квартиру я себе представляю...

— Ты там, на Урале-то, сдал свою?

— Не совсем. Жена — учительница, и ее упросили поработать до конца учебного года. Она в июле придет... Если вообще придет, — с непонятной усмешкой добавил Надеждин.

— То есть как — «если придет»? — встревожился Валунов. — Нет, брат, ты давай-ка забирай ее оттуда. Ордер тебе на двоих выписан. Тебя не пропишут...

— Пропишут. У меня есть справка... спасительная справка, что квартиру я сдал, а жене временно разрешено проживать на старой жилплощади.

— Ну, гляди... С квартирами у нас шутки плохи... Так тебя кем оформлять-то? — Надеждин смотрел на директора молча и, кажется, безучастно. — Чего ж ты молчишь?..

— А разве ваш вопрос — не мысли вслух?

— Я вслух и спрашиваю... Тебе зам-то мой, Скипидаров, что обещал?

— Федор Михалыч, в присутствии Лианова, обещал мне сектор... Правда, разговор был год назад...

Валунов повернулся к тумбочке, нажал на кнопку селектора:

— Федор Михалыч, тут у меня Надеждин...

— Какой Надеждин? — раздался в репродукторе густой, насыщенный властью голос. — А, да-да, я знаю о его приезде.

— Так кем его оформлять-то будем?

— Старшим сотрудником к Борису Ивановичу Лианову, — сказал Скипидаров тоном, не допускающим обсуждений.

Валунов недовольно насупился, но когда он говорил: «Да вот Надеждин мне сказал, что вы ему сектор обещали», — голос у него был почти просительный.

— Я собирался в перспективе выполнить обещание! — прозвучал внушительный баритон Скипидарова.

Тонкая, понимающая улыбка скользнула по губам Надеждина.

— Ну, ладно,— угрюмо буркнул Валунов и, выключив селектор, вздохнул:— Выходит, старшим...

— Обыкновенное дело,— сказал, улыбнувшись, Надеждин,— слово за давностью утратило первоначальный смысл...

— Да-а... Ты ведь там, в уральском-то институте, сектором заведовал... Ну, ничего,— продолжал Валунов доверительным тоном,— в старших сотрудниках тебе не долго ходить... Скипидаров, ведь он не нынче-завтра на пенсион уйдет... А я, когда еще твой доклад в Ленинграде слушал, сказал себе: вот достойная замена Скипидарову... Старикам, как Скипидаров, у нас почет, а молодым — дорога. Верно я говорю?

— Истина, Иван Степаныч. Только я в высокое кресло не рвусь.

— А вот это зря... Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а?

— Не хочу в генералы, хочу в мастера,— улыбнулся Надеждин.

— В какие же это мастера?

— Своего дела... В науке.

— Разве одно другому мешает?

— А разве нет?

— Ты меня возьми,— Валунов слегка приосанился.— Я не только директор. Я исследования веду в области монтажных работ, публикуюсь... Недавно кандидатскую защитил.— И добавил, как бы извиняясь:— Я бы, может, и не стал защищать — все некогда было, — да положение мое директорское обязало... Так и ты: докторскую-то и сделаешь быстрее, и защитишь успешней, потому что положение зама по науке... оно тебя обяжет...

Надеждин сделал было возражающий жест, но Валунов опередил его:

— Ладно. Об этом после потолкуем. В свое время я тоже отказывался, да меня упросили: так, мол, и так, некому быть директором — прежний-то на пенсию ушел, ученые наши мужи отказались,— выручай... А я тогда лабораторией заведовал. Ну, по доброте душевной согласился... И вот, вроде бы справляюсь...

— Ничего, Иван Степаныч, свято место пусто не бы-

вает,— сказал Надеждин с чуть заметной улыбкой. — Найдется и на должность зама по науке претендент.

— Да в том-то и дело, что нет их, достойных,— вздохнул Валунов.— Не вижу я ни одного...

— Ну, вы слишком суровы, Иван Степанович,— не согласился Надеждин. — Я знаю ваших специалистов по их научным трудам. Из них, как мне кажется, немало есть светлых голов. Да возьмите хотя бы Лианова...

— Голова-то у него светлая,— перебил Валунов с кривой усмешкой,— да глаза не туда смотрят: все в рот Скипидарову заглядывают...

Удивление отразилось на лице Надеждина; но тут открылась дверь, и в кабинет — легок на помине — вошел Лианов — рослый, полнотелый блондин с большим, энергичным носом на пухлом, цветущем лице.

— Входи, входи, Борис Иванович,— с некоторым смущением пригласил его Валунов.— Вот, товарищ Надеждин прибыл...

— Мы уже виделись с Вячеславом Алексеевичем,— сказал Лианов, улыбаясь своей мягкой, вкрадчивой улыбкой и усаживаясь в кресло рядом с Надеждиным.

— Вот что скажи,— хмуро взглянул на него Валунов.— Ты какое дело Надеждину собираешься поручить?

— Руководство темой по газоплазменному напылению,— сказал Лианов и посмотрел на Надеждина.— По-моему, мы так договаривались с Федором Михалычем?..

Надеждин кивнул.

— Плазменное напыление ведет у нас Светлана Сергеевна Рассудова, — Лианов перевел большие умные глаза с Надеждина на Валунова и снова на Надеждина.— Она отличный исполнитель, но не более... Поэтому работа движется медленно. Я думаю, что Вячеслав Алексеевич, с его энергией, поможет нам довести эту тему до внедрения...

— Да, тема очень важная,— кивнул Валунов. — Замминистра товарищ Рукавишников большое внимание уделяет этой работе. Он приводил пример: в США плазменным напылением ремонтируют футеровки печей в десять раз быстрее, чем обычным способом...

— Я целый год ждал перевода в ваш институт, — сказал Надеждин,— и поверьте, время это зря не

терял. Я к вам приехал не с пустым портфелем...
— Там, наверно, сервелат? — показывая на портфель, пошутил Лианов.

— Сервелат? А что это такое? — шуткой же ответил Надеждин. — Нет, Борис Иванович, там нет даже запаха сервелата, зато там есть несколько новых идей...

— Иван Степаныч, — оживился Лианов, — может быть, нам пригласить Федора Михалыча?

— Можно пригласить, — нехотя согласился Валун и нажал на клавишу селектора: — Федор Михалыч, вы не зайдете? Тут ненадолго...

— Хорошо, — ответил Скипидаров.

— Я думал над этой проблемой, — волнуясь, говорил Надеждин, — исходя из принципа: лучшее — враг хорошего. И кажется, мне удалось найти лучшее...

— Иначе говоря, — прервал его Лианов, — вы предлагаете изменить существующую технологию газоплазменного напыления?

— Я предлагаю отказаться от нее вообще. Футеровки печей можно ремонтировать гораздо проще и дешевле...

И тут в кабинет вошел Скипидаров, зам по науке, грузный, импозантный мужчина с большим благообразным лицом и твердыми серыми глазами. Он был в кофейного цвета костюме, сшитом, вероятно, по заказу и прекрасно сидевшем на нем. Несмотря на седую голову, он выглядел полным сил и здоровья.

— С приездом, Вячеслав Алексеевич, — Скипидаров вежливо поздоровался с Надеждиным за руку.

Лианов поспешно поднялся и, уступив место начальству, взял себе стул. Скипидаров грузно опустился в кресло рядом с Лиановым, и теперь особенно бросилось в глаза их внешнее сходство: как будто Лианов был Скипидаровым в молодости...

— Тут Вячеслав Алексеевич начал кое-что интересное рассказывать, — сообщил Валун.

— Надеюсь, не анекдот? — Скипидаров изобразил губами подобие улыбки.

— Нет, Федор Михалыч, — улыбнувшись точно такой же улыбкой, ответил Лианов. — Не анекдот. Он предлагает вместо газоплазменного напыления новый способ ремонта футеровок...

Надеждин, с лица которого с приходом Скипидаро-

ва радужное выражение исчезло окончательно, лаконично рассказал:

— Берется фосфатная связка, клей... В него вносится дешевая термореактивная смола, и этот раствор наносится на поврежденную поверхность. Все, ремонт окончен...

— Но за счет чего же создается прочность защитного слоя? — спросил Лианов.

Скипидаров хранил молчание.

— Сперва, при низких температурах нагрева — за счет полимеризации смолы, — пояснил Надеждин. — Потом, по мере повышения температуры в печи, смола выгорает, и тогда начинает затвердевать фосфатный клей. Он-то и создает прочную огнеупорную броню на поверхности футеровки. Просто... а главное — не нужна громоздкая и дорогая газоплазменная установка.

— Черт! Заманчивая идея! — воскликнул Лианов, которому свойственна была увлеченность. — Как вы считаете, Федор Михалыч? — словно опомнившись, обернулся он к Скипидарову.

— Она заманчива, как заманчив журавель в небе, — вынес приговор Скипидаров и, глядя на Надеждина, менторски добавил: — Вячеслав Алексеевич, у нас не клуб изобретателей, а прикладной институт, и мы должны заниматься делом, а не витать в облаках!

Озорной огонек мелькнул в глазах Надеждина, и он проговорил с шутливым покаянием:

— Знаете, Федор Михайлович, это во мне провинциал заговорил...

— Не понимаю вас, — сухо обронил Скипидаров.

— Все провинциалы верят, что витание в облаках лучше помогает делу... Впрочем, действовать я тоже умею, вы убедитесь в этом...

— Ну и прекрасно, — почти миролюбиво изрек Скипидаров. — Только хочу вам дать один совет: всю свою энергию, изобретательность направьте на быстрейшее внедрение газоплазменной установки. А что касается витания в облаках, — он улыбнулся с показным добродушием, — витайте себе на здоровье, только не в ущерб делу. Вы меня поняли?

— Прекрасно понял, — Надеждин учтиво поднялся. — Разрешите идти?

Валунов, ни слова не промолвивший, но, судя по

выражению глаз, всецело бывший на стороне Надеждина, протянул ему папки с документами и ободряюще сказал:

— Давай, действуй! А это занеси в отдел кадров. Да не забудь встать на партучет...

Надеждин молча поклонился и ушел.

— Как ваше впечатление? — тотчас же спросил Лианов Скипидарова.

— Впечатление — и, надо сказать, уже не первое, — что человек он увлекающийся.

— А это хорошо или плохо?

— Такого рода увлеченность для человека возраста Надеждина свидетельство незрелости ума.

— Совершенно верно, — охотно согласился Лианов. — Я тоже об этом подумал.

— Ничего, — нахмурился Валунов. — Притрется. Парень он с головой...

— Поживем — увидим, — тяжело поднявшись с кресла, сказал Скипидаров, и они с Лиановым ушли...

В тот же день Надеждин появился в первом секторе лиановской лаборатории и озадачил сидевших за работой Грассика, Рассудову и Астраханцева тем, что, открыв дверь и обнаружив довольно высокий порог, задержался перед ним и, качнув своим портфелем, весело, энергично сказал:

— Еще один символический предмет! Чудненько!..

На всякий случай сделаем вот так! — И он двумя ногами, как через скакалку, перепрыгнул порог. — Подумать только: в ультрасовременном здании — и вдруг порог! Позвольте отвлечь ваше внимание... Здравствуй-те, Надеждин! — И, войдя таким необычным образом, поздоровался за руку с Грассиком и Сашей.

— Валентин, — Грассик бросил на Надеждина пристальный взгляд.

— Саша, — Астраханцев чему-то вдруг улыбнулся.

— Мы с вами встречались, не так ли? — обращаясь к тому и другому, весело сказал Надеждин. — На конференциях.

— Как будто бы. — Грассик, встав из-за стола, представил Рассудову: — Светлана Сергеевна...

Надеждин шагнул навстречу и с удовольствием посмотрел на нее:

— Так это вы Рассудова? Очень рад, что работать мне придется именно с вами...

— Не радуйтесь,— сухо вато усмехнулась Рассудова.— У меня тяжелый характер.

Грассик тут же подтвердил:

— Да-да, имейте в виду, характер у нее тещин.

— С самой сварливой тещей можно прекрасно поладить, уступая ей кое в чем, — Надеждин дружески улыбнулся Рассудовой.— И я вам это обещаю. Хорошо?

— Посмотрим,— насторожилась Рассудова. — Скажите, когда по дороге вам встречается черная кошка, вы возвращаетесь назад?..

— Нет. Я ласково ее подманиваю... кс, кс, кс... беру на руки и вместе с ней следую вперед. А если вы имеете в виду мое суеверие, то признаюсь: этому я научился у наших хоккенстов: перед боем они собираются в кружок и шепчут заклинания. Ну, а я перепрыгиваю пороги.

— И с кем же вы собираетесь воевать? — с насмешливой улыбкой смотрела на него Рассудова.

— Не воевать, а утверждать... себя,— уточнил Надеждин.

— Однако... я бы не сказала, что вы отличаетесь скромностью.

— Истина, любезная Светлана Сергеевна, не может быть скромна, ибо перед кем ей скромничать? Перед ложью? ...Между прочим, это Маркс сказал. А то, что я сюда приехал утверждать себя,—самая честная истина!—И, отвесив ей шутливый поклон, Надеждин посмотрел на Грассика:—Свободный стол найдется?

— Можете занять вон тот,—небрежно кивнул Валентин в сторону стоящего перед своим столом.

Надеждин подошел, шлепнул ладонью по столешнице и, сделав попытку шатнуть стол, удовлетворенно отметил:

— Стоит надежно.

Затем опробовал устойчивость стула:

— Стул тоже не шатается. Благодарю вас.— И стал выгружать из портфеля свои книги.— Так над какой же проблемой трудится ваш сектор?

— Все над той же,—нехотя ответил Грассик, гадая на место. — Мы все, за исключением Светланы, ра-

ботаем в области конструирования нагревательных и обжиговых печей.

— Надеюсь, успешно?

Грассик пожал плечами:

— Да так... на тройку с плюсом.

— Посредственность — самое скучное слово.

— А что прикажете делать?.. У нас в Союзе нет легких индустриальных материалов с высокой температурой применения, поэтому печи, которые мы конструируем, тяжелые, как мастодонты.

— Вот у японцев печи так печи! — сказал Астраханцев и в ответ на вопросительный взгляд Надеждина встал и подошел к доске, висевшей на стене. — Где у нас мел?.. Ага, вот он, под тряпку спрятался. — И, вычерчивая поперечное сечение печи, похожее на букву «П», стал пояснять: — Легкий металлический каркас... Кожух... А на него, изнутри, разумеется, наклеивается теплоизоляционная плита толщиной не больше десяти-двенадцати сантиметров. Внутри бушует пламя — тысяча пятьсот градусов! — а снаружи можно рукой дотронуться. Представляете? — он посмотрел на Надеждина. — У нас стена метровой толщины — бетон, кирпич, а у японцев — легкая огнеупорная плита!

— Замечательно! — восхитился Надеждин. — А состав плиты у них запатентован?..

— Конечно, — грустно улыбнулся Саша и, тщательно вытерев тряпочкой руки, возвратился за свой стол.

— Какая чудная задачка для технолога! Аж руки зачесались, — Надеждин окинул загоревшимся взглядом своих коллег.

Недоверчивая усмешка скользнула по красивым, словно нарисованным губам Рассудовой, а Грассик сказал:

— Над этой задачкой уже много лет ломают головы десятки институтов, а воз и ныне там.

— Голов ломать не надо, они еще пригодятся. — Надеждин принялся расхаживать по комнате. — Решение должно быть неожиданным и простым, — говорил он негромко, словно думая вслух, и отрешенным взглядом глядя в пол. — Возьмем какой-нибудь огнеупорный материал... Скажем, асбест. У нас его, простите, до черта... А связку... — Он вскинул голову вверх и радостно

рассмеялся,— связку мы возьмем фосфатную! Как, Светлана Сергеевна? — посмотрел он на нее с веселым азартом. — Рискнем?

— Нет уж,— усмехнулась Рассудова,— мне хватает забот с газоплазменной установкой.

— Что ж,— улыбнулся Надеждин,— придется повитать в облаках в одиночестве...

Саша собрался о чем-то спросить его, но тут заговорил репродуктор, стоявший на книжном шкафу, и отвлек внимание Надеждина.

— Внимание, внимание! — тоненьким женским голосом объявил диктор. — Говорит радиоузел института НИИМ НИНАМ. Передаем краткие сообщения из жизни нашего коллектива!

— Отменно придумано,— заметил Надеждин, проходя за свой стол и садясь на место.

— Вы находите? — с иронией спросил Валентин...

— По итогам соревнования за первый квартал, — воодушевленно продолжала дикторша, — нашему институту присвоено первое место и Знамя министерства! Поздравляем вас, товарищи, с заслуженной победой!

Прозвучал мелодичный музыкальный проигрыш, и Надеждин сказал, оглянувшись в сторону Грассика и Саши:

— А я и не знал, что вы такие передовые...

— Ну-у! Да нами просто гордиться можно,— ответил Валентин, добавив после краткой паузы: — Если судить о нас по отчетным данным...

А радио продолжало:

— Сегодня треугольник института тепло поздравил начальника второй лаборатории Василия Васильевича Кукушкина с его семидесятилетием. Многие годы своей замечательной жизни кандидат технических наук Кукушкин отдал разработке и исследованию чудесного строительного материала, известного под названием «кукузит». Пожелаем же и мы нашему дорогому коллеге и товарищу крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деле дальнейшего совершенствования «кукузита»! — И мелодичный голос дикторши покрыли звуки музыкального проигрыша.

— Как, этот почтенный старец все еще руководит лабораторией?

— Чему тут удивляться? — грустно посмотрел Аст-

раханцев.— Ведь у нас из шестнадцати руководителей лаборатории половина — пенсионного возраста.

— Мы передавали краткие сообщения! — сказала радио, и зазвучал один из вальсов Штрауса.

— Потрясающе! — Надеждин повернулся на стуле, чтобы лучше видеть Грассика и Сашу.

— Не потрясающе, а сотрясающе! — Грассик почесал свою бакенбарду.

— Ах, как красиво уходят прима-балерины, — помолчав, мечтательно сказал Надеждин, — знаменитые вратари, звезды фигурного катания...

— У наших аллергия к слову «уйти», — с улыбкой заметил Саша.

— От этой болезни есть прекрасное средство, и испытанное! — возразил Надеждин.

— Просветите ради бога! — насмешливо взмолилась Рассудова, подперев свой точеный подбородок сцепленными вместе руками с золотым кольцом на левом безымянном пальце.

— Возрастной ценз! — не замечая насмешки, серьезно пояснил Надеждин. — А старцев — в консультанты. Пусть даже и с сохранением всех благ...

— Я вижу, для вас не существует никаких проблем, — криво улыбнулась Рассудова.

— Почему же... Но в данном случае действительно проблемы нет... Кстати, об этом не раз писала и пресса... Просто лекарство, испытанное на одних, — я имею в виду возрастной ценз, — нужно применить для других, только и всего.

— Как все просто, — качнула головой Рассудова. — И кто же это сделает?

— Отцы института, разумеется.

— Да было бы вам известно, что наши отцы как раз и больны аллергией...

— Как, — удивился Надеждин, — и Валунов — пенсионер?!

Тут оппоненты Надеждина дружно рассмеялись, а Рассудова сказала:

— А вы как думали...

— Феноменально! Пятьдесят лет, больше ему ни за что не дашь!

— У него жена — врач-косметолог, — Рассудова изобразила насмешливую мину. — Она следит за ним, как

за подопытным пациентом. Он не курит, не пьет и ведет самый строгий образ жизни. А волосы, между прочим... Вы заметили, какие у него замечательно черные волосы?.. Так вот, это действие нового эффектного красителя!

— Ну, что ж, — задумался Надеждин, — значит, нужно начинать с отцов.

— Знаете что? — произнесла его взглядом Рассудова.

— Что?

— Занимайтесь-ка вы лучше изобретательством...

Зазвонил телефон, и Рассудова стремительно ринулась к телефонному столбу.

— Да... да, — она прижалась щекой к трубке, а взгляд Надеждина с невольным изумлением фотографировал изящный очерк ее ног под прозрачным капроном чулок, гармоничный изгиб бюста и талии, блестящие каштановые волосы, ниспадающие на овальные плечи, мягкие, классически точные черты лица...

— Здесь... Хорошо, — Рассудова, положив телефонную трубку, коротко взглянула на Надеждина: — Вас просит зайти Борис Иванович.

— Благодарю, — Надеждин быстро поднялся и вышел.

— Очаровательное знакомство, нечего сказать, — обронила ему вслед Рассудова и медленной, красивой поступью направилась к себе за стол. — Проектеров еще нам не хватало!

Грассик покачал головой:

— Я слышал, что парень он шустрый, но такой шустрости и я в нем не ожидал...

— Да бросьте вы, ребята, — поморщился Астраханцев. — Нельзя же осуждать человека только за то, что он говорит, что думает...

— Только глупцы всегда говорят, что думают, — быстро обернулся к нему Валентин.

— Хотел бы я быть таким глупцом!

— Кому что нравится.

— Во всяком случае, — вступилась вдруг Рассудова, — этот Надеждин — человек с воображением, чего тебе, Валентин, как раз и не хватает. Может быть, поэтому ты вот уже семь лет не можешь кончить диссертацию.

— Света, ты становишься злой, — меланхолично за-

метил Грассик.— Тебя необходимо срочно выдать замуж...

— Спасибо. Об этом я позабочусь сама...

Вдруг растворилась дверь, и вбежала возбужденная Ляляева.

— Ребята, слышали новость?! — вскричала она с порога, блестя своими суматошными глазами.— На завтра объявляется всеобщая генеральная уборка!

— С какой это стати? — с усмешкой воззрилась на нее Рассудова.

— К нам приезжает министр!

— Ляля,— берясь за работу, прервал ее Грассик.— Может быть, хватит... новостей?..

— Грассик! И тебя не взволновала эта весть?!

— Ляля,— уставился на нее Астраханцев,— за пять лет работы в этой фирме мы слышали эту весть столько раз, что разучились волноваться, а министра и в глаза не видели.

— Но на этот раз он точно придет! Это я вам говорю! Забежала я к Галке, а она говорит...

— Ляля,— сердито оборвал Грассик, —пожалуйста, прикрой дверь... с той стороны...

Ляля изобразила оскорбленный вид и, круто повернувшись, выбежала из комнаты.

Три месяца прошло с момента появления Надеждина в лаборатории Лианова, и хотя среди его ближайших товарищей по сектору нет-нет да возникали споры относительно его подчас довольно эксцентричных взглядов и суждений, имя «Надеждин» мало кому что говорило в НИИ и даже в двух других секторах лиановской лаборатории, потому что Надеждин ничем пока себя особенным не проявил. Впрочем, львиную долю рабочего времени он и Рассудова проводили на каком-то московском заводе, внедряя газоплазменную установку, и в лаборатории бывали редко. Работа эта довольно скоро увенчалась успехом, но славы Надеждину никакой не принесла. И вдруг Надеждин ошарашил институт сюрпризом, которого от него никто не ждал...

Если бы в то утро кто-нибудь из посторонних, знающих Рассудову, заглянул бы в комнату, где, сидя над расчетами, она трудилась вместе с Грассиком и Астра-

ханцевым — Надеждин в тот момент отсутствовал, — он тотчас бы заметил перемену в облике Светланы: ее красивое лицо сияло тайной радостью, насмешливые карие глаза были подернуты какой-то мягкой, романтической дымкой; при случайном стуке в соседней комнате взволнованный взгляд ее устремлялся на дверь, словно каждую минуту она ждала кого-то.

— Никогда не думала, что это так интересно — математическое планирование эксперимента, — не без восхищения произнесла Рассудова, положив карандаш на бумаги, и откинулась на спинку стула.

— И этому тебя обучил товарищ Надеждин? — не замедлил съехидничать Грассик, не отрываясь от работы.

— Не в этом дело. Он научил меня работать, вот что важно, Грассик! Надо признать, он умеет увлекать людей.

— И тебя он тоже увлек?

— Можешь себе представить, увлек! — рассмеялась Рассудова.

Грассик повернулся к Астраханцеву.

— Саша, ты обратил внимание: каждую неделю Светлана меняет прическу и каждый день появляется в новом платье.

Саша добродушно улыбнулся.

— Грассик, даже твой цинизм теперь меня не трогает, — сказала Рассудова, слегка, однако, покраснев.

— И это благотворное влияние товарища Надеждина? — с насмешечкой взглянул на нее Грассик.

— А хотя бы и так.

— Чего ты все ерничаешь, Валентин? — заступился Астраханцев. — Завидки тебя берут, что ли? Вообще-то Надеждину можно и позавидовать: за три месяца работы они со Светой внедрили плазменную установку, а это, я тебе скажу, орешек. Недаром даже Скипидаров признал, что Надеждин оправдал надежды...

— Замечательно остроумно! — хмыкнул Грассик, посмотрев на Астраханцева. — Только зря ты, Саша, прицепляешься ко мне. Я всегда говорил, что Надеждин далеко пойдет... если не заедет в сторону.

— А без подковырок ты не можешь?

— Грешен,— покаянно вздохнул Валентин, — не могу.

Тут вбежала в дверь Ляляева и, хохоча, бесцеремонно выпалила свою очередную новость:

— Вы только послушайте, что отмочил новый начальник одиннадцатой лаборатории Глуховский! Он спрятался в мужском туалете и из окна подглядывал, кто из его сотрудников опаздывает с обеда. Настрочил целый список и побежал к Скипидарову! Хах-ха-ха! Пойду, Галке расскажу! — И Лялечка испарилась.

— Вот товарищ Глуховский начинает правильно, даже блестяще,— серьезным тоном заметил Грассик.

— Удивляюсь, как такие типы пролезают в начальство,— возмутилась Рассудова.

— Он не пролез,— поправил Грассик.— Он прошел... по конкурсу.

— Куда же смотрела конкурсная комиссия?

— Она смотрела на Скипидарова,— грустно улыбнулся Саша.

В дверь постучали. С бутылкой в руках вошла лаборантка Маша, низкорослая молодая женщина, благодаря своей неравномерной полноте похожая на бочонок.

— Светлана Сергеевна,— сказала Маша расстроенным голосом,— да что же это делается? Мне нужно смолу отнести в инженерный корпус — работа стоит, а вахтерша растопырилась в дверях и не пускает. Да еще обзывается всяко...

— Что же вы пропуск не выписали, Маша? — спросила Рассудова.

— А что, я, чо ли, должна выписывать?

— Ну, а почему вы не можете выписать? — не без смущения сказала Рассудова, потому что выписка пропусков входила в обязанности научных сотрудников.— Возьмите бланк у Бориса Ивановича, заполните и подпишите у Петрова.

— Делать мне больше нечего,— буркнула Маша и ушла, прихлопнув дверь.

Впрочем, дверь тут же отворилась, и в комнату вошел Надеждин, при виде которого глаза у Рассудовой посветлели.

— Ну и порядочки в вашей фирме! — Надеждин в возбуждении зашагал по комнате.

— В «вашей»? Или в «нашей»? — поинтересовался Грассик.

— В нашей,— вздохнул Надеждин, продолжая вышагивать от стены к стене.

— Догадываюсь: вы под свежим впечатлением работы ученого совета,— определил Валентин.

— Да какой это, к дьяволу, ученый совет? — резко обернулся к нему Надеждин.— Это же турецкий диван какой-то: как султан подумал, так и будет... Вся работа совета сводится к угадыванию мнения Скипидарова. Впрочем, чутье на угадывание у некоторых членов совета поразительное! Прямо телепаты какие-то!

Рассудова улыбнулась при этих словах, но тень смутного беспокойства мелькнула на ее лице...

— Чему тут удивляться? — пожал плечами Саша.

— Систему, Саша, образуют люди,— подошел к нему Надеждин.— Это как дебют в шахматах: фигуры расставлены бездарно — и система хлябает и расползается. Но расставьте те же самые фигуры с умом — и система станет гибкой, мобильной, атакующей! Уж я-то это хорошо знаю: ведь моя благоверная — шахматист высшего класса...

Саша грустно усмехнулся:

— В том-то вся и беда, что у нас нет руки, которая могла бы сделать необходимую перестановку на доске.

— Люди — не шахматные фигуры, Саша! — чуть не закричал Надеждин и потряс перед собой ладонью.— Они разумны! Они способны совершенствовать работу!

Грассик медленно поднялся, подошел к открытой форточке и закурил сигарету, пуская дым наружу.

— Люди живут не как хотят, а как могут,— небрежно кинул он Надеждину.

— Как могут?! — вскричал тот, подбегая к Грассику, и, дернув его за рукав костюма, спросил: — Это что на вас?

— Как что? Костюм.

— Какой костюм?

— Обыкновенный.

— Нет, не совсем обыкновенный! Из чего он сшит?

— Ну, положим, из кримплена...

— Ага-а! — торжествующе прервал его Надеждин.—

Кримплен, видите ли! Так вот: если бы люди жили не как хотят, а как могут, они бы и сейчас еще ходили в звериных шкурах!

— Света, ты не находишь, что три месяца работы в нашем институте — маловато для твоего начальника? — спросил Грассик, изображая хорошую мину при плохой игре.

— Вячеслав Алексеевич, да будет вам, право, — успокоительно улыбаясь Надеждину, сказала Рассудова. — Со временем все образуется, уверяю вас...

— Само образуется? — спросил ее Надеждин, но, впрочем, тоном значительно более мягким...

— Ну... кто-то уйдет, а кто-то придет, сильный и смелый... Вы понимаете?

— Такой никогда не придет, — покачал головой Надеждин. — Времена героев-одиночек канули в Лету!

— Любопытно, — приблизившись к Надеждину, сказал Валентин, — кто же все-таки сделает перестановку в экспозиции? — На его бородатом лице мелькнула тонкая усмешка.

— Вы, я, они, — сказал Надеждин, глядя ему в глаза. — В бывшем моем институте это сделали партийцы, и я в их числе. У нас такое же болото было... А нынче та фирма одна из лучших на Урале.

— Вы что же, директора на мыло списали? — меланхолично пробормотал Грассик.

— Представьте себе: оставили в прежнем кресле. Только он, когда увидел, что подлинный хозяин института — коллектив, стал руководителем, а не диктатором... А был вроде вашего Скипидарова.

— И отчего же вы покинули столь славный институт? — не без ехидцы спросил Грассик. — Или это тайна?

— Я родился в здешних местах... И потом — перемен захотелось. Человек консервируется, сидючи на месте.

— Теперь я вижу: вы максималист...

— А ты минималист? — с вызовом спросила Грассика Рассудова.

Тот молча улыбнулся и, почесав свою бакенбарду, побрел к столу...

Дверь отворилась, и снова с бутылкой в руках ввалилась Маша.

— Светлана Сергеевна,— с ходу спросила она Рассудову, не обращая ни малейшего внимания на остальных,— долго я еще, как дура, бегать буду с этим пропуском? Некому его подписать!

— Машенька! Вы у Петрова были?

— А то нет? Он на совещании битых три часа сидит!

— Так к Жукову бы зашли. Он тоже имеет право подписи.

— И у Жукова была. Нет его, в Москву уехал. Работа стоит, а я все бегаю. Зла не хватает!

— А что, собственно, случилось? — занятый еще своими мыслями, спросил Рассудову Надеждин, потому что Маша работала в его группе.

— Да ничего... Сейчас мы все уладим.— Рассудова поспешно поднялась, направляясь к дверям.— Пойдемте, Маша...

— Света, подожди,— остановил ее Грассик.— Маша, вы у нас давно?

— Третий год, а что?

— Вы ворота в левом открьлке знаете?

— Ну, знаю.

— И ключ где хранится, знаете?

— У Лешки-крановщика.

— Так возьмите у Лешки ключ и выйдите с вашей смолой через ворота, если вас на проходной не пускают.

— Фу-ты, пропасть! А я и не подумала...

— Ладно, Маша. Пойдемте вместе,— сказала Рассудова, и они ушли.

— Я вообще не понимаю,— пожал плечами Астраханцев,— кому нужна эта вечная канитель с пропусками. В конце концов, если я захочу украсть, я украду через окно!

Грассик встал и, подойдя к вешалке, снял свой халат.

— Для того и охрана, чтобы через двери не таскали,— ответил он Саше и, неожиданно запев: — Эх, ряна, встает охрана-а,— скрылся за дверью.

— Саша,— подойдя к Астраханцеву с какой-то металлической штуковиной в руке, сказал Надеждин,— вот здесь канавку нужно бы профрезеровать. Пошел в мастерскую, а мне от ворот поворот. Включи, говорят, в план, в следующем месяце сделаем.

— Все правильно: вне плана вам болта не вытчат.

— Но мне ведь срочно нужно... понимаешь, срочно!

— Срочные работы тоже в плане.

Надеждин тяжело вздохнул и, выразительно глядя на Сашу, сказал:

— Что-то фатальное мне начинает чудиться в этом слове «план»...

— Да какая там фатальность.— Саша махнул небрежно рукой.— Мы эту фатальность обходим очень даже просто... Только способом не совсем красивым...

— Дьявол с ней, с красотой! Умоляю: рассекреть свой способ! Ради пользы дела...

— Це два, аш пять,— не без смущения поведал Саша.

— Спирт?! Но ведь это... А, ну да: всеильное средство...

Саша беспомощно развел руками.

— Пойду-ка я к Лианову! — решился Надеждин.

— Бесполезное дело,— качнул головой Астраханцев.

— Тогда к Скипидарову!

— А что это даст?.. Вам же он и всыплет, что вы загодя не подумали об этой фрезеровке и не включили ее в заявку...

— Да что же я, провидец на все случаи жизни?! Итак, остается последнее средство! Где у нас спирт?

— В сейфе у Бориса Ивановича...

Надеждин набросил на себя рабочий халат и решительно двинулся к выходу.

— Только много не давайте,— предупредил его Саша.— Кубиков сто пятьдесят, и через полчаса работа будет сделана...

Несколько времени Саша работал в одиночестве, потом явился Грассик, бледный и явно чем-то расстроенный.

— Валентин, у тебя голова болит? — взглянув на него, участливо спросил Астраханцев.

— Да нет, просто я повздорил с Борисом,— нехотя ответил Грассик, снимая с себя халат и вешая его в угол.

Тут вошла Рассудова и, обращаясь к Грассику, сказала:

— Ты поцапался с Борисом? Невиданное дело! А из-за чего?..

— Он передал большой нагревательный стенд Алле Львовой на целый год,— вяло пояснил Грассик, устало сядя на свой стол. — Так что мой заключительный эксперимент опять отодвигается...

— Да это же грабеж! — возмутился Саша и заерзал на стуле. — Ты должен жаловаться!

— Кому? — покосившись на него через плечо, меланхолично спросил Грассик. — Папе римскому?

— Да хоть тому же Скипидарову!

— Гм! Ты думаешь, Борис сделал это без его согласия?..

— У тебя замечательный друг, Валентин! — сказала Рассудова.

— Борис мой друг в далеком, призрачном прошлом. Рассудова качнула головой:

— И в память о бывлой дружбе ты разрешаешь ему сесть тебе на голову?

— Ошибаешься: он это сделает без моего разрешения...

Вдруг в комнату влетел сияющий Надеждин, держа в руке большую легкую плиту.

— Первый полет в облаках успешно завершен! — возгласил он с веселым задором и, подняв плиту над головой, спланировал ее на стол.

В первое мгновение никто ничего не понял, но все подошли и окружили плиту.

— Это японская плита? — спросила Рассудова.

— Нет, это советская плита! — с торжеством ответил Надеждин.

— Какая прелесть,— Рассудова взяла ее на руки. — Легкая, как поролон!

Плита пошла ходить из рук в руки.

— Она не только легкая. Вчера я дал ей односторонний нагрев до тысячи шестисот градусов! — Надеждин посмотрел на Астраханцева. — Наружную поверхность можно было трогать рукой!

— Точно такую я видел на японской выставке в Москве,— пробормотал Астраханцев, внимательно разглядывая плиту.

— Ну и хитрец же вы, Вячеслав Алексеевич! — весело блестя глазами, сказала Рассудова. — Даже я, ваша правая рука, как вы меня называете, и слухом не ведала, когда вы это сотворили...

— Но вы же отказались быть моим помощником в этом деле! — смеясь, упрекнул ее Надеждин.

— Что ж.. я при всех... готова взять свои слова обратно. — И Рассудова шутливо погрозила пальцем: — Имейте в виду, я это делаю не часто...

Надеждин молча смотрел на нее влюбленными глазами.

— Постойте, — приблизилась к нему Рассудова, — у вас здесь сажа. — И, вынув из кармашка свой душистый носовой платок, отерла щеку Надеждину. — Вы знаете, вы просто сразили меня... Это же... это же гениально!

— Ну, это слишком сильно сказано, — засмущался Надеждин. — Но то, что это изобретение, ручаюсь!

— Между прочим, — меланхолично вставил Грассик, — «гений» в переводе с древнегреческого означает «творить, изобретать»...

— Вот видите! — улыбнулась Рассудова.

Надеждин выхватил из рук Астраханцева плиту и с церемонным поклоном уложил ее к ногам Рассудовой:

— Свое изобретение я посвящаю вам, Светочка!

— Очень тронута, — слегка покраснев, сказала Рассудова и подняла плиту.

— Везет Борису! — не без досады обронил Валентин. — Именно такая плита нужна ему для докторской диссертации!..

Но эта фраза Грассика осталась без внимания, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошли Лианов, Стружкина и Ляля.

— Вячеслав Алексеевич, вас можно поздравить? — Лианов улыбнулся.

— Вот она, знаменитая плита! — беря ее, сказала Ляля и передала Лианову.

— Ее температуростойкость — тысяча шестьсот градусов, — увлеченно пояснил Надеждин, — а толщина всего лишь десять сантиметров.

— Но ведь от такой суперлегкой плиты, — внимательно рассматривая ее и ощупывая, говорил Лианов, — всего один шаг к конструкции печи типа японской!..

— Ну, что я говорил! — многозначительно шепнул Астраханцеву Грассик.

— Что-то быстро и легко у него все получается! — буркнула вдруг Стружкина, ни к кому особенно не обращаясь.

— Легко и быстро? — услышал ее слова Надеждин. — А вы слышали, что не так давно один советский акробат поднялся на Эйфелеву башню и с единственной попытки на самом верху, который ходит ходуном и качается, продемонстрировал стойку на перилах.

— При чем здесь акробат?! — выпучила на него глаза Аля Стружкина.

— А при том, что этот трюк стоил жизни многим смельчакам, а наш исполнил быстро и легко!

— Ну и что? Может, он его целый год на тренировках отрабатывал?

— Вот и я свою плиту на «тренировках» отрабатывал, может, год, а может, три. Если хотите знать, суть этой идеи я привез с собой с Урала.

— Ну, кроме тренировки, нужен еще и талант, — заметил Грассик, глядя почему-то на Лианова, — и акробату, и изобретателю...

— Это у него, что ли, талант?! — уничтожающе взглянув на Надеждина, срезала Грассика Стружкина. — Тоже мне, Эдисона нашли! — И она демонстративно удалилась, хлопнув дверью.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Лианов удивленному Надеждину. — Аля у нас вообще... с заскоками...

— А точнее говоря, с приветом! — добавила Ляляева и рассмеялась.

Лианов быстро прошел к телефону и набрал нужный номер:

— Федор Михалыч?.. Федор Михалыч, мы хотели к вам зайти с Вячеславом Алексеевичем, можно?.. Хорошо, Федор Михалыч... — Он положил на место трубку и, обращаясь к Надеждину, сказал с внезапным воодушевлением: — Пойдемте! И захватите плиту...

— Вячеслав Алексеевич, — укоризненно покачивая головой, вмешался Грассик, — вы от нас так просто не отделаетесь...

— С вас причитается! — хором подхватили Ляля и Рассудова.

— С удовольствием! — весело встрепенулся Надеждин и, вытащив из кармана четвертную, протянул ее Саше: — Будь другом, купи шампанского, на все...

А Лианов сказал среди всеобщего оживления:

— Вообще-то говоря, это мы, конструкторы, должны угощать шампанским Вячеслава Алексеевича. — И, обращаясь к Грассику, миролюбиво спросил: — Как, Валентин?

— Ставит тот, кто получает наибольший выигрыш! — с явным намеком на что-то отчеканил Грассик.

— Да! — сделав вид, что он не понял Грассика, сменил разговор Лианов. — Завтра к нам министр приезжает. Так что я прошу навести идеальный порядок на рабочих местах... Ну, пошли, Вячеслав Алексеевич?

Несколько дней спустя, в пятницу вечером, НИИ отмечал десятую годовщину со дня своего основания. Приглашали министра, который, по крайней занятости, опять не смог приехать, но и без него юбилей удался на славу...

После торжественной части в актовом зале было решено развлекательный финал отпраздновать в лесу, на свежем воздухе, благо что дремучий бор окружал корпуса института со всех сторон. Нашли просторную поляну, запылали костры, нажарили шашлыков и, рассевшись прямо на траве, приступили к пиршеству. Здесь был институт едва ли не в полном своем составе.

Вечер был чудесный, теплый и безветренный. Пахло свежей хвоей, грибами, дымком и жареным мясом. Звенели стаканы, слышались смех и шутки — все было радостно возбуждено. Но вот восстановили тишину, и первый тост был предоставлен Валунову. Иван Степаныч, одетый в парадную пару, вышел в середину круга, озаренного светом костров, и, держа бокал в руке, с чувством сказал:

— Сегодня юбилей у нас. С трибуны уже выступали; много говорили хорошего. Но один вопрос был упущен. Я хочу его восполнить... Мы существуем десять лет. Десять лет исполнилось сегодня нашему НИИ. За это время мы все сдружились, как одна семья. У нас дружный, замечательный коллектив, товарищи! Поэтому нам по плечу любые задачи, какие нам ни поручат.

Вот я и предлагаю: поднимем бокалы за сплоченность и дружбу нашего коллектива!

Треск аплодисментов покрыл слова директора. Все закричали «ура!» и подняли бокалы. Иван Степаныч степенно отошел к костру, где сидели и полулежали сотрудники лиановской лаборатории, пригубил шампанское и, поставив свой бокал на импровизированный стол, накрытый прямо на траве, со скупым дружелюбием улыбнулся Надеждину. Тут теплофизики включили во всю мощь транзистор, извергнувший танцевальную музыку, вокруг костров начались танцы, и сделалось шумно и весело.

— Ты не желаешь прогуляться? — негромко спросил Валунов Надеждина.

Тот пожал плечами, встал и пошел за директором. На их исчезновение никто за танцевальной суетой и разговорами не обратил внимания, но, как было после установлено, беседа директора с Надеждиным оказалась подслушанной, и полагают, что это сделала Аля Стружкина, в ту же самую минуту скрывшаяся в лесу. А беседовали вот о чем...

— Ну, как жизнь-то? — благодушно спрашивал Иван Степаныч, медленно шествуя по окраине поляны и поглядывая на кусты и ели, в густой синеватой тени которых так хорошо было прятаться...

— Лучше всех, у кого хуже нас, — улыбнулся Надеждин.

— Это как же, — озадаченно взглянул на него Валунов, — хорошо или плохо?

— Нормально значит, — смеясь, сказал Надеждин.

— О плите-то твоей суперлегкой весь институт говорит. Молодец. Давай дальше в том же духе... Ты вот что, ты как на такое дело смотришь? Во втором секторе у Лианова должность заведующего вакантная... Там, правда, Смычкова замещает, но она с народом не умеет ладить. Так что я тебя хочу на это место...

— А не рано ли давать команду к взлету? — улыбнулся Надеждин.

— Это к какому такому взлету?

— Да возьмите хотя бы ракету. Бывает, поспешат, скомандуют: «Пуск!» — а ракета вместо взлета — вдруг трах-тарарах и взрывается...

— Ну, ты что, ракета, что ли? — рассмеялся Валу-

нов.— Шутник тоже... Я тебя спрашиваю: согласен ты пойти завсектором?

— Самостоятельность — заманчивое дело, конечно... А с другой стороны, человек я с норовом, Иван Степаныч. А норовистую коренную все больше по башке кнутовищем лупят. Лошадь терпит, да я-то, боюсь, не стерплю...

— Да ты что говоришь-то? Кто тебя лупить-то собирается? Кому это нужно?..

— А Скипидаров?

— Скипидаров теперь, после твоей плиты, горой за тебя... Ты давай соглашайся. Поддержка моя будет...

— Подумать надо, Иван Степаныч...

— Ну, думай, — сказал обрадованно Валунов и потрепал Надеждина по спине. — Только недолго... Да, а как там твоя жена? Скоро приедет? Июль на носу...

— «Сегодня я с тобой хочу расстаться, но как ужасно ты мне дорога... была!» — неожиданно пропел Надеждин, поворачивая к костру.

— Ты, часом, не развод задумал? — встревоженно спросил директор, следуя за Надеждиным.

— И здесь я тоже, — с улыбкой обернулся Надеждин, — должен подумать... хорошенечко подумать...

— А как же твой квартирный вопрос?.. Нет, брат, так не годится. Ты жену-то привези, пропиши ее, а уж тогда решай дальше...

— Возможно, так я и сделаю, Иван Степаныч, — сказал Надеждин, и оба вернулись к костру...

А в это время на другом краю поляны в одиночестве прогуливавшийся Скипидаров как бы случайно натолкнулся на проходившую мимо Рассудову.

— О, Светлана Сергеевна, — сказал он слегка зашмелевшим голосом, — я так счастлив видеть вас!

— Мы виделись с вами только что, у костра, — весело усмехнулась Рассудова.

— Я счастлив видеть вас наедине, — многозначительным тоном проворковал Скипидаров. — Вы такая вся необыкновенная, воздушная! — он ласково взял ее за руку. — Как вам работается, как ваше настроение?

— Спасибо, не жалуюсь.

— А в отпуск вы когда собираетесь? — спросил Скипидаров, жадно вглядываясь сквозь вечерний полумрак в красивое лицо Рассудовой.

— Как всегда, в бархатный сезон.

— И куда же именно, если не секрет?

— Вероятно, в Адлер.

— А меня вы не хотите взять с собой? — игриво спросил Скипидаров.

— Пожалуйста! — Рассудова тряхнула головой, поправляя прическу, и кокетливо рассмеялась. — Въезд туда открыт для всех.

— Ах вы, хитрунья такая! — погрозил ей толстым пальцем Скипидаров. — А ведь я выгодный попутчик: я могу нас устроить в чудесный санаторий.

— Тогда придется подумать, — переходя на игривый тон начальства, пообещала Рассудова.

— Я надеюсь, мы еще поговорим на эту тему, не так ли? — спросил Скипидаров и, воровато оглянувшись, приложился губами к руке Рассудовой, на самом сгибе локтя.

— О-о! — слегка смутясь, засмеялась Рассудова. — Пойдемте-ка лучше танцевать, Федор Михалыч!

— С вами с величайшим удовольствием! — воскликнул Скипидаров, приосанивая свою и без того импозантную фигуру.

И они отправились танцевать...

Танцы были в разгаре. Танцевали все, не исключая Валунова... Лишь один человек сидел у костра и молча, безучастно наблюдал веселую танцевальную вакханалию на поляне. То была Смычкова, исполнявшая обязанности руководителя второго сектора лиановской лаборатории, она же предместкома института. Немолодая, некрасивая, с желтоватым лицом, которое теперь казалось красным в зареве костра, она, как все одинокие женщины, была фанатичкой в работе. Инженер-силикатчик с большим практическим опытом, она могла заткнуть за пояс любого ученого в этой области, и недаром о ней говорили, что «Раиса Васильевна, стоит ей только поплевать на палец, приложить его к горячему кожуху печи, может с точностью до градуса определить температуру расплава». Она была честолюбива, но недостаток научной культуры и вздорность характера мешали ее карьере, по этой же причине ее никак не утверждали заведующей сектором...

— Что же вы не танцуете? — выбравшись из круга танцоров и подойдя к Смычковой, спросил Лианов,

улыбнувшись ей той показной благодушной улыбкой, которая делала его похожим на Федора Михалыча.

— Кто-то же должен за костром следить, — сухова­то ответила Смычкова, подозрительно вглядываясь в Лианова, не насмехается ли он над ней...

— А как вам понравился юбилейный спич Валунова? — спросил Лианов, и оба дружно и не без злорадства рассмеялись.

— Кстати, у меня к вам разговор, — доверительно проговорил Лианов, присаживаясь рядом на пенек.

— По поводу Надеждина? — хитро улыбнулась Смычкова.

— Раиса Васильевна, — восхищенно улыбнулся Лианов, — да вы умеете читать чужие мысли!

— Что вы, Борис Иванович... Просто до меня дошли кое-какие слухи... Ведь председатель месткома все должен знать, верно?..

— И что же до вас дошло?

— Ну, что он... болтает лишнее... Что не совсем в порядке его семейные дела и вообще...

— Ну, это еще полбеда, — сказал Лианов. — Хуже то, что Валунув метит его на ваше место, завсектором...

Даже в красноватом зареве костра заметна была бледность, покрывшая щеки Смычковой.

— Вы знаете, — поспешно продолжал Лианов, — что я и Федор Михалыч всегда отстаивали вашу кандидатуру, но, к сожалению, Валунув уперся и ни в какую... Собственно, только поэтому вас не утверждают...

— Я вовсе и не рвусь в заведующие, боже упаси! — сказала Смычкова, но голос ее обиженно дрогнул. — Если Федор Михалыч считает, что Надеждин более достойная кандидатура, — ради бога, пусть его назначают.

— Да в том-то и дело, что никто, кроме Валунуова, так не считает... Вот вы, председатель месткома, скажите объективно, — проникновенным голосом спросил Лианов, — разве справедливо выдвигать на руководящую должность человека, который работает у нас без году неделя?..

— Конечно, нет! — с полным убеждением ответила Смычкова. — Мы же его совершенно не знаем. И этому, по существу, случайному человеку Валунув протектирует. Если так и дальше пойдет, то еще через месяца

три он Надеждина назначит начальником какой-нибудь лаборатории, а там и замом сделает своим! Кошмар какой!..

— Вот этим, собственно, я и хотел с вами поделиться, — улынувшись, закончил Лианов.

— Благодарю вас. Новость хотя и не очень приятная, но очень любопытная. — И, осененная какой-то мыслью, Смычкова вдруг спросила: — А вы не слыхали, жена у Надеждина приехала или все еще на Урале?

И, невольно перейдя на шепот, они принялись обсуждать квартирные дела Надеждина...

А Надеждин в это время танцевал с Рассудовой танго и, радужно улыбаясь, блестя глазами, говорил ей на ухо:

— Мне страшно приятно с вами работать, Света. И вообще: приятно видеть вас, слышать ваш голос...

— Это что, комплимент? — лукаво посмотрела на него Рассудова.

— Нет, не комплимент. Если хотите — это рыцарское желание сказать, что я действительно чувствую...

— Ну, если рыцарское, тогда... спасибо.

— Это вам спасибо... за то, что вы такая славная, — с нежностью сказал Надеждин, целуя руку, лежащую у него на плече. — Вы мне здорово нравитесь, Света, и я...

Тут в танцах наступила пауза, пары смешались, и к Надеждину приблизился Астраханцев. Он слегка пошатывался, и глаза у него были хмельные.

— Слава, можно тебя на минутку? — Астраханцев, посмотрев на Рассудову, извиняющимся жестом приложил к своей груди ладонь.

Надеждин с сожалением сказал:

— Светлана Сергеевна, вы мне дарите вальс, хорошо? Я сейчас... — И, оставив партнершу, он отошел за Астраханцевым к сосне.

— Ты представляешь, Слава, какая это мерзость — Лианов?.. — говорил Астраханцев нетвердым голосом, держась рукой за ветвь березы. — Четыре года Валентин, как каторжный, вкалывал на него, а теперь, когда Борис защитился сам, он передает свой стенд жене, чтобы и она быстрее защитилась! Ну разве это не грабеж?.. Ты извини, я немного пьян, я не рассчитал свои

силы, но... понимаешь, вот здесь нагорело, — он постучал себя в грудь.

— А что, разве Валентин такой беззубый? — усмехнулся Надеждин по адресу Грассика.

— Зубы-то у него есть, — поморщился Астраханцев, — да кусаться он не смеет... Он ведь знает, кто стоит за Борисом. Да стоит только Валентину пикнуть, и Скипидаров ему скажет: «Каа-тись... по собственному желанию!»

— Мне кажется, ты слишком сгущаешь краски, Саша. Не так страшен черт, как его малюют...

— Не страшен? — Саша даже изменился в лице. — Да это же лиса с повадками тигра! У него знаешь какая поддержка железная? Знаешь с кем он распивает чай? С самим Рукавишниковым! Они учились вместе, и Скипидаров работал у него начальником главка, пока его, по старости, не перебросили к нам — там-то он уже не тянул. Ну, а отсюда его уже никто не «уйдет». Он тут прочно сидит, до инфаркта!

— Ладно, — смеясь, сказал Надеждин. — Пошли лучше капустного рассолу выпьем.

— Рассолу? Это мысли!.. Только я хочу тебя предупредить, по-дружески... Ты — человек, уязвимый своей прямоотой! А у нас в НИИ таких не любят... А особенно опасайся Лианова. Он метит в наследники Скипидарова, а в тебе подозревает главного соперника, понял?..

— Саш, пошли выпьем рассолу?

— Пошли, — устало вздохнул Астраханцев, и они направились к костру...

А у соседнего костра, где, передыхая от танцев, собралась молодежь из всех лабораторий, главенствовала Лялечка.

— Слыхали? — захлебываясь от восторга, рассказывала Ляля. — Вчера Валунов самолично застукал Глуховского, когда тому в рабочее время красили «Волгу»!

— В самом деле?.. Ну, теперь ему нагорит! — раздались голоса.

— Как бы не так! — рассмеялась Лялечка. — Ведь Валунов поручил разобрать это дело... кому бы вы думали? Смычковой из месткома!

— Ну и что? — хором спросили сотрудники.

— А то, что Глуховский на этой самой своей «Волге»

Смычкову с работы домой отвозит! И в ресторане «Араги» их вместе видели!

— Как, Смычкову с Глуховским? — вскричали голоса. — Да ведь ей же лет пятьдесят!..

— Ну и что?.. Он тоже не первой молодости!

— Ха-ха-ха!.. Айда танцевать, девчата!

И молодежь гурьбой повалила на танцы, потому что снова гремела музыка «Спидолы» и на поляну одна за другой выходили пары...

А вскоре после этого банкета над головой Надеждына начали сгущаться тучи...

В комнате он был один, сидел за столом и быстро что-то писал. И тут вошла Смычкова, с папкой в руках, в строгом сером костюме и со строгим выражением на желчном, желтоватом лице.

— Здравствуйте, — сухо поздоровалась она.

— Привет, — машинально, не отрываясь от работы, пробормотал Надеждин.

— У меня к вам дело! — официальным тоном заявила Смычкова.

Надеждин придвинул ей стул:

— Чем могу служить?

— Мне поручили разобрать вот это заявление, — садясь, продолжала Смычкова, и вынув из папки какой-то лист бумаги, протянула его Надеждину: — Ознакомьтесь.

— Давненько не видывал я анонимок, — пробежав глазами листок, сказал Надеждин тоном Чичикова, играющего в шашки с Ноздревым.

— Анонимка — ложь, а здесь написана правда, — сказала Смычкова.

— Правда, не заверенная честным именем?

— А это уже не имеет значения. Документ есть документ, и мы обязаны дать ему ход.

— У нас, в уральском институте, знаете какой давали ход подобным документам?

— Как поступали у вас, меня абсолютно не интересует.

— Ну, как же! — рассмеялся Надеждин. — Все-таки — обмен опытом... Мы делали всегда вот так! — и, изорвав листок, он бросил его в урну.

— Товарищ Надеждин! — чуть не подскочила на стуле Смычкова. — Это же форменное хулиганство!

Надеждин саркастично улыбнулся:

— Хулиган, насколько мне известно, происходит от слова «хулить». Документ анонимщика хулит человека, следовательно, хулиган — анонимщик, а вовсе не я. Как вы находите силлогизм, товарищ Смычкова?

— Та-ак! — с угрозой протянула Смычкова. — Выходит, вы отказываетесь ответить на вопросы?

— Отчего же? С превеликим удовольствием. Ведь это не вы анонимщик, надеюсь?.. Минуточку. — Он повернул настольную лампу рефлектором себе в лицо и включил свет. — Вот теперь я готов...

— Вы что, надо мной издеваетесь?! — задыхаясь от гнева, вскричала Смычкова.

— Напротив, — спокойно возразил Надеждин, — я помочь вам хочу: при такой освещенности я ничего не скрою от вашего ока.

— Имейте в виду, — пригрозила Смычкова, — я могу вас вызвать на местком. Там вы по-другому заговорите!

Надеждин лениво улыбнулся:

— Так все-таки — вопросы ко мне будут?

— Вы квартиру получили на двоих? — с трудом поборов раздражение, спросила Смычкова.

— Предположим, — кивнул Надеждин.

— Не предположим! У вас в порядке записаны вы и ваша жена! Жenu вы собираетесь прописывать?

— А если я собираюсь ее выписывать, — Надеждин сделал выразительную паузу, — из своей жизни?

— Ага! Значит, вы разводитесь?!

— Допустим.

— В таком случае мы предлагаем вам переехать в однокомнатную.

— Уверяю вас, это было бы неразумно, — сказал Надеждин. — Вторая комната мне жизненно необходима, для работы. Можете проверить, она забита книгами.

— Для книг мы жилья не выделяем.

— А для дров полированных выделяете?

— Каких еще дров?!

— Для мебели...

— Мы выделяем дополнительную площадь тем, кто заслуживает.

— А мои права кандидата побоку?

— Что это за права?

— Разве вы не знаете? Вы же сами кандидат наук...
На дополнительные двадцать квадратов...

— Вот если бы ваша жена прописалась, а потом, когда вы с ней развелись, съехала с квартиры, тогда бы вам оставили излишки,— нетерпеливо разъяснила Смычкова.

— Но вот вы, к примеру, насколько мне известно, сразу получили излишки...

— Я получила с разрешения руководства! — разъяренно закричала Смычкова.

— Спокойно, спокойно... Я только хотел сказать: дайте и мне такое разрешение.

— Его нужно заслужить, молодой человек!

— Верой и правдой?..

— Значит, вы отказываетесь переехать в однукомнатную? — теряя терпение, вся красная от раздражения, спросила Смычкова.

Надеждин сожалеюще вздохнул:

— Можете записать в протоколе: отказываюсь!

— И прописывать жену тоже не собираетесь?

— Ежели она пожелает приехать, так и быть — пропишу.

— Когда она приедет, вы можете сказать?

— Увы! Этого я не знаю.

— Вы эти сказки расскажите кому-нибудь другому!

— Как прикажете вас понимать? — вежливо осведомился Надеждин.

— Не притворяйтесь! Я вижу вас насквозь!

— Не сомневаюсь. При такой-то освещенности... И чего же вы видите?..

— Вы все заранее рассчитали! — в такт своим словам махая перед носом Надеждина пальцем, продолжала Смычкова. — Вы еще на Урале собрались бросить жену. Но вам нужна была двухкомнатная квартира, и вы решили скрыть ваши намерения, прикрываясь женой. Вы всех обманули!

— У вас богатая фантазия, товарищ Смычкова, — рассмеялся Надеждин.

— Докажите, что я не права!

Надеждин вдруг подозрительно взгляделся в Смычкову:

— Знаете, а ведь вы — рыжая!

— Что-о-о?! — вскакивая со стула, вскричала Смычкова.

— Тогда докажите, что вы не рыжая, — спокойно пояснил Надеждин.

-- Вы... вы поплатитесь за оскорбление общественного лица! — закричала Смычкова. — Вы будете держать ответ... перед партийным бюро!

— За оскорбление общественного лица? — спросил Надеждин.

— За квартирный обман, товарищ Надеждин! — сказала Смычкова, бросаясь к дверям.

— Но где же логика?! — патетически крикнул ей вслед Надеждин.

Он тяжело вздохнул и, покачав головой, уронил ее на руки. Именно в этой позе застал его Астраханцев, войдя в рабочем халате с небольшими бетонными призмочками в руках.

— Что с тобой, Слава? — встревожился Астраханцев.

— Да так... голова разболелась, — нехотя пробормотал Надеждин и посмотрел на образцы: — Что это у тебя?..

— Да вот, — протянул ему образец Астраханцев, — вр изгиба этого бетона — сто килограммов на квадратный сантиметр.

— После нагрева? — рассматривая образец, спросил Надеждин.

— Да. Я давал тысячу градусов.

— Но это же замечательно, Саша! — оживился Надеждин.

— Не совсем, — вздохнул Астраханцев, — мне нужно сто пятьдесят...

Тут зазвонил телефон, и Саша, подойдя, снял трубку:

— Да, восьмая лаборатория... Одну минутку! Слава, тебя... Комитет по науке...

Надеждин подошел, взял трубку:

— Надеждин слушает... Обзорный доклад по высокотемпературным материалам?.. Готов в любое время. Хорошо. Как только получу ваш вызов, приеду... До свидания.

— В Комитет по науке вызывают? С докладом? — уважительно спросил Астраханцев.

Надеждин невесело кивнул.

— Поздравляю, — улыбнулся Астраханцев.

— Вот что, Саша, — Надеждин продолжал рассматривать образец, — а что, если попробовать проармировать бетон... ну, скажем, стружками из жаропрочной стали?..

— Слава! — закричал сдержанный обычно Астраханцев. — Да ведь это же идея! Побегу в мастерскую жаропрочную сталь искать! — и ринулся к дверям...

Благодаря энергии Смычковой и содействию как явных, так и тайных недоброжелателей Надеждина его «квартирное дело» раскрутили со стремительной оперативностью — в течение одной недели. Оправдательные аргументы его не спасли, возможно, оттого, что большинство в НИИ не знало, кто такой Надеждин, и не поверило ему. И хотя Надеждин «схлопотал» строга-ча, нужно отдать ему должное: он мужественно перенес все неприятности персонального дела, во всяком случае, на поведении его этот удар судьбы никак не отразился: он выглядел по-прежнему веселым, энергичным и приветливым, и трудно было бы предположить, что этот человек переживает внутреннюю драму... Впрочем, несколько дней спустя он вызван был в Москву с докладом в Комитет по науке и, уезжая, в шутку спрашивал коллег по сектору, не привезти ли им из матушки-столицы птичьего молока... И все же единодушное мнение сотрудников Лианова, не исключая искренне переживавших за него коллег, было таково, что карьера Надеждина кончилась. Да и сам Надеждин как будто подтвердил эту точку зрения: вернувшись из Москвы, он тотчас объявил, что увольняется из института... И тут-то вдруг и обнаружилось, что карьера Надеждина не только не кончена, но получила новый, неожиданный скачок...

Когда Надеждин, с заявлением в кармане, пришел к директору, тот разразился упреками.

— Разве я тебе не говорил: прописывай жену, иначе будут неприятности? — ворчал Валунов, страдальчески морщась и избегая смотреть в глаза Надеждину. — А ты? Ты все тянул и дотянул... Ты почему ко мне не пришел, когда Смычкова заварила эту кашу с персональным делом? Пришел бы: так, мол, и так, Иван Степаныч, подвела меня супруга, выручай... Что-нибудь

бы придумали... А ты — гордый больно — не пришел. А когда дали делу ход, поздно было... Что я мог сделать? Да встань я на твою защиту, мне бы самому досталось на орехи. Обо мне и так сплетни распускают, будто я квартирами спекулирую... — и он расстроенно вздохнул.

Тонкая, едва заметная усмешка витала на губах Надеждина во время этой речи, потом он вспоминающе сказал:

— Между прочим, на партийной комиссии председатель знаете о чем спросил нашего секретаря?.. «Вы приглашали специалиста?» Тот: «Приглашали». — «Он вам нужен?» — «Очень даже нужен». — «Так зачем вы затеяли всю эту бодягу?!» Он так и выразился, «бодягу»... Вот и я вас хотел бы спросить, Иван Степаныч, зачем затеяли эту бодягу?..

— Да разве я затеял? — ворочаясь в кресле, буркнул Валунов, и глаза его стали угрюмыми. — Это все скиппидаровская шатня-братня. Ну, ладно... Дело это прошлое. Ты лучше скажи, как там твоя жаропрочная плита, суперлегкая? Как твой доклад в Комитете? Начальство-то довольно осталось?..

— Иван Степаныч, — сказал вдруг Надеждин с веселым азартом, — дайте-ка я лучше вам спою... прощальную...

— Это что же... уж не бежать ли ты от нас задумал? — встревожился Валунов,

— Убегать — это не современно, — улыбался Надеждин. — Я улечу... Урал берет меня назад, с выговорякой... И квартиру я освобожу, опять же вам выгода. — Он вынул из кармана заявление и положил его перед директором. — А с вами, Иван Степаныч, мы расстанемся друзьями, верно ведь? Подпишите, пожалуйста!

— Эт ты брось, — отодвинул в сторону листок Валунов. — Никуда мы тебя не отпустим.

— Эх, где наша не пропадала! — махнул рукой Надеждин. — Придется самовольно улетать...

— Самовольно? — Валунов мрачновато как-то усмехнулся. — За самовольство ведь тебе и прибавить могут, — проворчал он с явным намеком. — Ты лучше вот что скажи: ты как, надумал принимать сектор Смычковой?

— Как?! — с шутливым удивлением воскликнул На-

деждин. — Это вы меня, с подмоченной репутацией, намерены продвинуть на руководящие высоты?! Иван Степаныч...

— Да брось ты об этом, — добродушно усмехнулся Валунов. — У кого их не было, выговоров? Мне, брат, в свое время не так доставалось... Второй сектор у Лянова в завале. Поправишь там дела — и сразу же взыскание с тебя снимем, досрочно... Давай, выручай институт. Смычкова никак не тянет...

— Но ведь Смычкова и Надеждин — это же коса и камень, — предупредительно взглянул на Валунова Надеждин.

— А чего тебе ее бояться? Разве я тебя не поддерживу?..

— Да дело не в боязни, — задумчиво пробормотал Надеждин. — А вдруг Скипидаров скажет «нет»?..

— Да я же с ним согласовал, — вполне серьезно возразил Валунов. — Сначала он вроде против был. А теперь... он ведь тоже понимает, что мы перегнули своим персональным делом. Так что и он не будет возражать...

Несколько мгновений Надеждин молча думал, пристально глядя в окно, за которым качались ветки березы, потом сказал с внезапным воодушевлением:

— Ну что ж: рискнем еще разок! — И широким жестом протянул директору руку.

— Значит, договорились? — обрадованно улыбнулся Валунов, крепко пожимая протянутую руку.

Надеждин кивнул и, поднявшись, направился к дверям, напевая вполголоса:

Тореадор, смелее в бой, тореадор...

Валунов, качая головой, провожал его благодушной улыбкой...

А через несколько дней Надеждина вызвал к себе Скипидаров. Войдя и получив приглашение сесть, Надеждин оказался свидетелем «бани», которую устраивал Скипидаров двум молодым специалистам, с понурым видом стоявшим перед его столом.

— Кто из вас распространяет эти слухи?! — мощной глыбой навалившись на столешницу, грозно вопрошал Скипидаров.

— Мы... мы не распространяли, Федор Михалыч, —

робко возразил один из инженеров, худой и низкорослый, как подросток. — Мы просто обсуждали... что было сказано на комсомольском собрании.

— Ведь вы же сами об этом сказали, — подхватил другой, белобрысый парень спортивного вида.

— О чем об «этом»? — ткнул его взглядом зам.

— Ну... вы сказали, что скоро уйдете на пенсию... ну, на отдых, и что очень скоро на смену таким, как вы, придут другие, молодые, энергичные воспитанники комсомола...

— Но ведь надо же голову на плечах иметь! — с негодованием вскричал Скипидаров. — Неужели непонятно, что я сказал об этом в фигуральном смысле?!

— А-а... в фигуральном? — с чуть заметной ноткой разочарования протянул худощавый.

— Извините, Федор Михалыч, — срывающимся баском подхватил второй. — Мы... мы не поняли... мы не хотели...

— Я не знаю, о чем вы думали и что хотели, — резко перебил его зам. — Я знаю другое: по институту ползут нездоровые, вредные слухи, и причина этих слухов — в вашей болтовне! Ступайте! И впредь я вам советую думать головой, прежде чем давать волю языку!..

Сконфуженные комсомольцы повернулись и, мелькнув красными лицами, скрылись за дверью.

— Вы просили зайти? — сказал Надеждин, подходя и садясь поближе к столу.

— Кислый разговор будет, Вячеслав Алексеевич, — остро взглянул на него зам по науке.

— Что ж, — натянуто улыбнулся Надеждин, — кислое все же лучше, чем горькое...

— Я не расположен шутить! — чеканя слова, сказал Скипидаров. — Вы лучше объясните, как случилось, что о вашем назначении знает весь институт? Вы кому-нибудь говорили об этом?

— А что, разве мое назначение — нечестное дело, что о нем говорить возбраняется?

— Но ведь приказ еще не подписан! Как вы могли разгласить служебный разговор?!

В глазах Надеждина вдруг замерцали озорные искорки, и, чуть заметно иронизируя, он сказал покаянным голосом:

— Как же это я, в самом деле, маху дал?..

— Назначение на должность — такая же награда, как орден, — не заметив иронии Надеждина, продолжал Скипидаров, — и пока не подписан приказ, награду не поздно отобрать назад! По существу, мы доверили вам служебную тайну!

— Вы знаете, — продолжал разыгрывать простачка Надеждин, — меня с толку сбили...

— Кто вас сбивал с толку?

— Секретарь партбюро, Валунов и... Лианов...

— Что за чушь вы городите?

— Ну, как же... Ведь они еще три дня назад поздравили меня с назначением, да и с вами это было согласовано... Естественно, я полагал, что приказ — пустая формальность. Но я так полагал по наивности, конечно, — поспешно заверил Надеждин, смиренно приложив руку к груди.

— Только приказ может узаконить ваше назначение! — веско произнес Скипидаров, и взгляд, которым он смотрел на Надеждина, договаривал еще одно слово: «мой» приказ. — Имейте в виду, мы доверяем вам ответственное дело — руководить коллективом. Мы полагаем, что имеем дело с серьезным человеком, сдержанным человеком, с человеком, прекрасно сознающим, что, вступая в когорту руководящего актива, он теперь принадлежит не столько себе, сколько делу актива! Вы понимаете, о чем я говорю?

— Я готов наступить на горло собственной песне, — разыгрывая Скипидарова, с чувством заверил Надеждин, — если это нужно будет в интересах дела!

— Я надеюсь, вы извлекли урок из нашего разговора, — добрея, сказал Скипидаров. — Приказ будет подписан сегодня. И мой вам совет: слишком рьяно за работу не беритесь. Народ в этом секторе с гонором, прижимать его нужно постепенно.

— Прижимать? — изобразив на лице удивление, спросил Надеждин.

— Ну да, прижимать. Вы что, вчера родились?

— А, понял, — улыбнулся Надеждин. — Постепенно. — И он изобразил жест «прижимания».

— Желаю удачи! — Скипидаров тяжело приподнялся и пожал Надеждину руку...

В тот же день ближайшие коллеги Надеждина условились отметить его назначение хорошим ужином на квартире у Светы Рассудовой.

Надеждин, в новеньком, с иголки, костюме, счастливый и сияющий, явился раньше всех и, вручив обворожительной хозяйке дома букет бело-красных роз, был приглашен в комнату. Квартира у Рассудовой была хотя и небольшая, но уютная, со вкусом обставленная, с картинами и эстампами на стенах, с дорогими, явно заграничными шторами на окнах, изображавшими сцены средневековой охоты, лакированным паркетом и хрустальной люстрой в большой комнате. Люстра освещала стол, накрытый на пять персон и сверкавший белой, накрахмаленной скатертью, чешским стеклом и бутылками с вином. В кресле, возле светящейся панели радиолы, вливавшей в комнату приглушенные звуки джаза, в свободной, отдыхающей позе сидела Рассудова. Голубое открытое платье с крупной брошкой из прозрачного янтаря, облежавшее ее изящную фигуру, очень было ей к лицу, но особенно красила ее и молодила легкая улыбка, в тот вечер не сходившая с ее румяных, полных губ... Она с живейшим интересом следила за Надеждиным, который, заложив за спину руки, медленно ходил по комнате, рассматривал картины, вазы, статуэтки, задерживался взглядом на корешках старинных книг...

— Вы это здорово придумали — отметить в вашем доме мое, так сказать, назначение, — Надеждин подошел и сел в кресло напротив Рассудовой. — У меня в квартире хаос... А у вас — хорошо, приятно, мило, хотя... — он добродушно рассмеялся, — немножко страшновато...

— То есть как «страшновато»? — смеясь, спросила Рассудова. — Почему страшновато?..

— Да нет... у меня вырвалось не то слово...

— Нет уж, вы скажите, — весело допытывалась Рассудова.

— Ну, зачем же придавать значение случайной фразе?

— Вячеслав Алексеевич, а вам не кажется, что между друзьями не должно быть недомолвок?

— Обязательно должны быть недомолвки! — тряхнул головой Надеждин.

— Вы опять чудите?..

— Нисколько... Ну, ладно, раз уж я заикнулся, скажу... Страшновато мне становится всегда, когда я вижу

такие вот квартиры,— и он обвел глазами комнату.

— И что же вы нашли здесь страшного?— с непонимающей улыбкой спросила Рассудова.

— Собственно, меня страшит не само великолепие вашей обстановки, сколько то, символом чего оно является...

— И символом чего же оно является?

— Символом бешеной гонки за полированными гарнитурами, дорогим хрусталем и сервизами, коврами, легковыми машинами... Меня пугает это, честно говоря...

— Ну, что вы! Дорогие вещи — прежде всего красивые вещи, а красота облагораживает...

— Разве вещи, а не идеи облагораживают человека?— мягко возразил Надеждин.

— Людей, обыкновенных смертных, быстрее воспитают вещи, чем идеи...

Надеждин пристально взглянул на нее и неожиданно рассмеялся:

— Света, вам не кажется, что говорим мы вовсе не о том? Вернее, я начал не о том...

— Вот уж не знаю, что вы хотели сказать,— лукаво посмотрела на него Рассудова.

— Я хотел... Давайте лучше исповедуем друг друга,— с улыбкой предложил Надеждин.

— Вот новости!— тряхнула головой Рассудова.— Как мы можем исповедоваться? Ведь мы же не в церкви...

— Очень просто,— объяснил Надеждин.— Вы зададите мне какой-нибудь интимный вопрос, а я — вам... Идет?

— Идет! Только, раз уж наши ребята запаздывают, давайте немножко выпьем...

— С удовольствием!— согласился Надеждин.

Они поднялись, подошли к столу и, выпив по рюмке вина, возвратились в кресла.

— Мне первой можно начать?— с улыбкой спросила Рассудова.

Надеждин поклонился.

— Скажите, Слава, это действительно тайна, что ваша жена так долго не приезжает к вам?

— Ну уж вы тоже нашли, о чем спросить...

— Что, слишком щекотливая тема?..

— Никакой тут щекотливости нет... и тайны тоже нет. Просто мы с супругой пожинаям плоды так называемой психологической несовместимости... А чтобы понять, по-

чему я не страдаю от разлуки с ней,— Надеждин усмехнулся,— нужно хотя бы раз увидеть мою благоверную...

— Она какое-нибудь страшилище?

— Да я бы не сказал... А впрочем, в любом случае она сюда придет, и вы будете иметь возможность увидеть ее.— Он улыбнулся:— Ну как, вы еще не начали волноваться?

— Почему я должна волноваться?— удивленно вскинула брови Рассудова.

— Потому что сейчас я спрошу...

Рассудова приставила к груди сложенные вместе ладони.

— Видите, я приготовилась...

— Света,— отчего-то вдруг волнуясь, начал Надеждин,— вы — красивая и, как все красивые женщины, избалованы, верно?

— Наверно, да...

— Таких, как вы, принято носить на руках, мне так кажется,— с воодушевлением продолжал Надеждин.— И вот, если бы вам предложил, так сказать, руку и сердце человек, который не умеет это делать — носить подругу на руках, что бы вы ему ответили?..

— Но ведь он может научиться!— смеясь, воскликнула Рассудова.

Надеждин улыбнулся:

— Ответ, достойный настоящей женщины!.. Но, предположим, этот человек не способен на такое... Он слишком занят делом и не умеет быть внимательным и чутким... Может быть, он даже сухарь по натуре своей... Жене такого человека пришлось бы взвалить на свои хрупкие плечи тяжкое бремя домашних забот... Вы отказали бы такому человеку?..

— Не знаю,— задумавшись на секунду, сказала Рассудова тоном серьезным и немножко грустным.— Могу только сказать, что если любишь, то и бремя домашних забот несешь с удовольствием... Кстати, мой бывший муж как раз относился к разряду тех, кто носит любимую женщину на руках... Он был хороший архитектор и, хотя и не много зарабатывал, создал мне все удобства... У меня было, в общем-то, все... все, кроме чувства. И жизнь не получилась...

— А если бы тот, о ком я говорю,— Надеждин слегка подался к Рассудовой,— вам нравился?..

— Тогда я согласилась бы,— улыбнувшись, завершила его Рассудова.

— Дело остается за малым,— просиял Надеждин,— чтобы я вам понравился!..

— А-а,— шутливо протянула Рассудова,— так этот неэнимательный, нечуткий человек — вы сами?

Надеждин покорно опустил голову:

— Каюсь... И жду вашего приговора.

— А можно этот приговор... перенести ненадолго?

— Разве так трудно сказать короткое «да» или «нет»? — удивился Надеждин.

Странное, непонятное смущение мелькнуло вдруг в глазах Рассудовой, и, помолчав, она сказала, положив свою ладонь на руку Надеждина:

— От этого короткого ответа, Слава, слишком многое зависит, чтобы можно было произнести его, не думая... Не так ли?..

Тут позвонили в дверь, и Рассудова побежала встречать гостей. Это были Грассик, Астраханцев и Лялева. С букетами цветов и бутылками шампанского в руках, они ввалились в комнату, и едва расселись по местам, как послышались веселые возгласы:

— Света, принеси, пожалуйста, вазу для цветов!

— О, какая чудная сервировочка!

— Да, Света, как всегда, блеснула своим вкусом...

— Еще бы, ведь ее вдохновлял Вячеслав Алексеич!

→ Грассик, Саша! Открывайте же шампанское!..

И когда все подготовились к трапезе, с бокалом шампанского в руках встал Грассик.

— Ну, что, други, время зря терять не станем? За ваше новое назначение, Вячеслав Алексеевич! За ваши успехи,— он многозначительно посмотрел на Надеждина,— будущие!.. За жисть, за все хорошее!

— А я хочу добавить,— вставил Астраханцев,— что именно таких, как Слава, и нужно продвигать вперед!

— Только зря не обольщайтесь, Вячеслав Алексеевич! — сказала Лялечка. — Сектор, куда вы идете начальником, даже сам Скипидаров называет змеиным питомником. Там чего одна только Стружкина стоит!..

— Ляля! — прервал ее Грассик. — Не порть нам настроение, прошу тебя!

— Ладно, ребята,— весело сказала Рассудова,— за-

будем обо всем неприятном. Сегодня наш день! За ваш успех, Вячеслав Алексеевич!

Зазвенели бокалы, и ужин начался...

Комната сотрудников второго сектора ничем не отличалась от соседних комнат лиановской лаборатории — обыкновенное административное помещение, довольно светлое и просторное, уставленное новыми столами, еще хранившими запах столярного лака. Только люди были здесь другие, совсем иные, чем в секторе Грассика...

За центральным, двухтумбовым столом, лицом к сотрудникам, сидела Смычкова, только что смещенная приказом с должности и. о. заведующего сектором, но не смирившаяся со своим поражением... У окна, за столами поменьше, работали Аля Стружкина и молодой специалист Оля Родникова, миловидная девушка с толстой русой косой и голубыми, грустными глазами. Правее, ближе к дверям, один из столов был свободен, а за другим трудилась тоже молодой специалист Люба Косогляд... Хотя слово «трудилась» в данном случае вряд ли приемлемо: дело в том, что Люба только делала вид (довольно, впрочем, искусно), что она работает, а сама, выдвинув ящик стола, где спрятан был очередной роман, большую часть времени проводила за чтением...

День был в разгаре, когда на столе у Смычковой задребезжал телефон и, нервно вскинув трубку к уху, она сказала своим резким, металлическим голосом:

— Смычкова слушает!.. Кто? Кого?! Я же вам только что сказала русским языком: ее здесь нет!.. Она в другой комнате, в левом крыле... Там нет телефона!.. Знаю я ваши срочные амурные дела! Некогда мне бегать за каждым! — И она раздраженно бросила трубку.

Оля, встревоженно прислушавшись к телефонному разговору, сказала робким, слегка даже дрожащим голосом:

— Раиса Васильевна, ведь это спрашивали Верочку. Она выходит замуж, и ей, наверно, жених звонил. А вы... нельзя же так...

— Не твое дело! — махнула на нее рукой Смычкова. — А если ей нужен жених, пусть возьмет — без содержания... Тут снова звякнул телефон.

— Да! — крикнула в трубку Смычкова и вдруг совер-

шенно другим, предупредительным тоном сказала:— Хорошо, Федор Михалыч... Поняла, Федор Михалыч. Сейчас же соберу.— Она положила телефонную трубку.— Все слушают?.. Через десять минут нас собирает Федор Михалыч. Оля! Зови сюда всех!

— Позволь спросить, а по какому поводу нас собирают?— пропела Стружкина, как только Оля выскользнула за дверь.

— Раз собирают, значит, надо!— отрезала Смычкова.

Пухлое лицо Стружкиной оживилось насмешливой улыбкой:

— Ты уж признайся, Раечка, что собирают нас, чтобы сменить руководство...

— А тебя не спрашивают! — раздраженно вскричала Смычкова, ерзая в кресле.

— Ха-ха!— хохотнула Стружкина.— Что, кошки скребут на душе? Все, Раечка, покомандовала, теперь другой командовать будет!

— Посмотрим еще, как он станет командовать, этот выскочка!— нервно рассмеялась Смычкова, расшвыривая бумаги на своем столе.

Люба Косогляд, как будто этот спор ее ни чуть не занимал, с углубленным вниманием «работала», иначе говоря, не отрывалась от романа...

Тут, со стульями в руках, вошли сотрудники — Оля Родникова, лаборантка Верочка с мокрыми от слез глазами, техники Дарья и Женя Ракитин, молодой, плечистый парень с веселым блеском в темных глазах. При виде вошедших Люба Косогляд мгновенным движением задвинула ящик стола, где таился роман, и принялась перебирать бумаги на столе...

Вскоре же явились Скипидаров, Лианов и Надеждин. Смычкова тотчас освободила свое место Скипидарову и, жалко улыбнувшись, села рядом на стул. Наконец все расселись, и Скипидаров, величественно возвышаясь над столом, сказал:

— Вам должно быть известно, товарищи, что Раиса Васильевна временно заведовала сектором. И теперь, когда мы решили опробовать на этой должности товарища Надеждина, я думаю,— он взглянул на Смычкову, на желтых щеках которой проступили красные пятна,— она с удовольствием освободит себя от обязанности быть администратором, чтобы всю свою энергию направить на ре-

шенные научных проблем. Одной из таких проблем, как вы знаете, является вопрос улучшения качества сырья для силикатных печей. Не секрет, что со многих заводов министерства поступают все новые жалобы на плохое сырье. И по тому, насколько успешно и быстро ваш коллектив справится с этой задачей, мы будем судить о работе каждого из вас, и в том числе о работе вашего руководителя, товарища Надеждина... Я надеюсь, что все вы будете всячески ему содействовать...— Все это было высказано Скипидаровым спокойно и внушительно, а выслушано — с абсолютным вниманием... Лишь при словах «попробовать Надеждина» торжествующая усмешка скользнула на тонких губах Смычковой и такая же усмешка мелькнула в нагло-выпуклых глазах Стружкиной.— Вопросы ко мне есть?— спросил Скипидаров и, немного погодя, обратился к Лианову:— Борис Иванович, вы не хотите сказать несколько слов?..

— Нет!— поспешно замотал головой Лианов, и на его большом, породистом лице появилась восхищенная улыбка.— Вы настолько все точно сказали... мне печего добавить...— И, словно устыдившись своей подобострастности, он покраснел и оглянулся на сотрудников, но осуждения не заметил...

— В таком случае позвольте пожелать вашему коллективу успешной и дружной работы,— веско произнес Скипидаров и направился к дверям тяжелой, уверенной поступью хозяина.

Следом же поднялся и вышел Лианов. И едва закрылась дверь за ними, вскочила со стула Смычкова.

— Все!— бросила она сотрудникам.— Можете приступить к своим делам! Стулья не забудьте забрать!..

— Раиса Васильевна, вашу команду можно списать, вероятно, на счет инерции?— с учтивой иронией заметил Надеждин, выходя вперед и обращая на себя внимание манерой держаться — с каким-то особенным, естественным изяществом и жизнерадостным воодушевлением.— Было бы, наверно, не очень здорово, если бы я вступал в новую должность мистером Икс, меня ведь не все знают,— с улыбкой продолжал он, обращаясь к сотрудникам.— Поэтому позвольте представиться. Человек я веселый и, в общем, не злой. По профессии — силикатчик, так что научные задачи сектора представляю... Решать мы будем их сообща, но только не штурмом, не голым энтузиаз-

мом и даже не лошадиным трудолюбием, а с помощью новых, смелых и оригинальных идей. Мой лозунг — да здравствуют новые идеи! Вот и вся моя программа... А по душам, я думаю, мы еще успеем поговорить. И, если нет ко мне вопросов, все свободны...

Комната тотчас же наполнилась шумом вставания: захватив с собой стулья, уходили лаборанты.

— А теперь я хотел бы попросить кого-нибудь показать мне вашу лабораторную базу,— Надеждин обежал глазами оставшихся сотрудников.

— Если позволите,— робко поднялась Оля, с какой-то простодушно-детской симпатией глядя на Надеждина,— я с удовольствием вам все покажу...

Надеждин благодарно улыбнулся ей и, жестом пропустив ее к дверям, вышел следом.

— Начальничка нашли, нечего сказать! — раздраженно жестикулируя, вскричала Смычкова.— Да это же красnobай, демагог! Программную речь произнес! Гения из себя разыгрывает! Эзенштейн липовый!

— Эйнштейн, Раечка,— масляным голосом кольнула ее Стружкина.

— Это все Валунов! — не обращая на нее внимания, продолжала разоряться Смычкова.— Это его любимчик! Ну ничего, скоро конкурс объявят на замещение должностей, тогда посмотрим...

— Рая,— удивилась Стружкина,— уж не собираешься ли ты подать на конкурс?

— А что,— с обидой посмотрела на нее вся красная от гнева Смычкова,— разве я не такой же кандидат наук, как другие? А стаж у меня, между прочим, в два раза больше, чем у этого выскочки! И меня не только в министерстве, меня на заводах каждая собака знает! А кто такой Надеждин? Кто его знает в нашей системе?.. Увидишь: на вороних прокатят этого карьериста с его квартирным строгачом!

— Хи-хи-хи! — мелко захихикала Стружкина.

Люба Косогляд тем временем с упоением читала роман.

Открылась дверь, вошла Оля и села за стол, закинув за плечи свою пушистую косу.

— Оля, ты выполнила мое задание? — вдруг нахмурилась Смычкова.

— Выполнила,— без радости сказала Оля.— Только

не нравится мне такая работа — таблицы составлять. Любой лаборант это может сделать. Все-таки я — инженер...

— Ты еще зеленый инженер! И что тебе ни поручают, обязана выполнять и не огрызаться!

— Я у вас год работаю, — обиженно скосилась на Смычкову Оля, — а чему научилась? Бумажки писать?

— Интересно, — смерил ее взгляд Смычковой с ног до головы, — а что же ты еще хотела бы делать? Лабораторней руководить?

— Я хочу вести исследования...

— Ты видела? — обратилась к Стружкиной Смычкова. — Она, видите ли, хочет вести исследования!..

— Но почему же нет? — расстроенно смотрела на Смычкову Оля. — Все-таки я институт с отличием закончила...

— Ты научись сперва со старшими разговаривать! — бросила ей Смычкова. — И дисциплину подтяни! Каждый день опаздываешь!

— Каждый день? — едва не плача, защищалась Оля. — Да это и было-то всего два раза...

— Ты вон с кого пример бери! — ткнула указующим перстом Смычкова в сторону сутуло склонившейся над столом Косогляд. — С Любы!

Люба, ловко задвинув ящик стола, сделала вид, что работает.

— Она тоже молодой специалист. Два года у нас работает и ни разу не опоздала, ни с обеда, ни на работу. И что ей ни скажешь, беспрекословно исполняет. А ты до сих пор несчастную таблицу горных пород не можешь составить!

— Но если меня от такой работы... воротит?..

— А воротит, — разъярилась вдруг Смычкова, — скатертью дорожка!!

В глазах у Оли блеснули слезы. Она вскочила и выбежала за дверь.

— До чего распустилась эта молодежь! — яростно расшвыривая бумаги на столе, возмутилась Смычкова.

— Ничего, — стрельнула в нее насмешливым взглядом Стружкина, — Надеждин их подтянет...

— Тебя бы тоже не мешало подтянуть! — огрызнулась Смычкова.

— Ха-ха!— захохотала Стружкина, вставая и идя к дверям.— Еще человек такой не родился!— И хлопнула дверью.

Несколько минут прошло в молчании. Люба Косогляд продолжала нелегальную читку романа. Но вот вошел Надеждин, и она, тотчас задвинув ящик, сделала вид, что работает...

— Раиса Васильевна,— сказал Надеждин,— у меня к вам просьба...

— Вы должны теперь приказывать, а не просить,— отрывисто буркнула Смычкова.

— Вам Оля очень нужна?— мирно смотрел на нее Надеждин.

— Лентяйки мне вообще не нужны!

— Отлично! Отныне Оля работает в моей группе.

— Забирайте это золотице! Вот вам дела,— она швырнула папку с документами на угол стола.— Больше у меня ничего нет.

— С этим я ознакомлюсь позже,— небрежно сказал Надеждин, перекладывая папку на свой стол.

Смычкова подбежала к канцелярскому шкафу, распахнула дверцы и, кивая на плотные ряды переплетенных отчетов, метнула взгляд в Надеждина:

— Знакомиться надо вот с чего! Здесь десять лет упорного труда, работы! Сперва изучите все это, а потом уж начинайте!— И, запахнув дверцы, с торжеством удалилась на место.

— Благодарю за совет,— учтиво поклонился Надеждин,— но архивные дела меня не занимают. А начинать я собираюсь с новых принципов...

— Интересно,— насмешливо протянула Смычкова,— какие же это принципы?..

— Прежде всего,— Надеждин принялся задумчиво расхаживать по комнате,— я предложил бы отказаться от горных пород как сырья для печей...

— Отказаться от горных пород?!— в ужасе расширила глаза Смычкова.— Да вы что, белены объелись?.. Я всю жизнь занимаюсь проблемой сырья. Мне известны все работы в этой области. И все они базируются на использовании горных пород! Где же вы возьмете лучшее сырье?

— Лучшее сырье можно создать искусственно,— сказал Надеждин.— Как вы посмотрите на такую идею? Бе-

рем обыкновенный речной песок — кремнезем — и какой-нибудь отход, содержащий известь...

— Ради бога! — затыкая себе уши, вскочила Смычкова. — Избавьте меня от прожектов! — И она стремглав побежала к дверям.

Надеждин посмотрел ей вслед и, рассмеявшись, сказал:

— Что ж, придется и тут повитать в облаках в одиночестве...

Ищущий сочувствия взгляд его задержался на сутулой фигуре Косогляд, на сей раз что-то с отрешенным видом писавшей, и разочарованно угас...

Вдруг открылась дверь, и вошла Оля.

— Оля! — страхнув с себя оцепенение, весело сказал Надеждин. — Отныне вы работаете в моей группе!

— Правда? — просияла Оля.

— Ведь вы силикатчик?

— Ага...

— Прекрасно. Тогда давайте немножко повитаем в облаках...

— Давайте, — улыбнулась Оля.

— Как вы считаете, можно создать искусственно камневидное сырье для силикатных печей?

— Как это, искусственно?..

— Вот домны, например, они ведь редко кормятся чистой рудой, верно?

— Их кормят рудным агломератом, — с улыбкой сказала Оля.

— Вот видите, вы все знаете! — Глаза у Надеждина воодушевленно блеснули. — Так давайте и мы попробуем создать... силикатный агломерат!

— Как? Из чего?..

— А вот послушайте. Садитесь сюда. — Надеждин усадил Олю за свой стол, сел рядом и взял лист бумаги и карандаш. — Эта идея проклюнулась у меня еще на Урале, но до времени лежала без движения. — И он стал объяснять свою идею...

Взглянув на них и оценив обстановку, Люба Косогляд решительно выдвинула ящик и, делая вид, что работает, углубилась в роман...

Самой удивительной чертой Надеждина как инженера было то, что он умел стремительно осуществлять свои

идеи. А ведь он не прекращал и черновой работы: ездил на завод внедрять газоплазменную установку, готовил опытную партию своих жаростойких, суперлегких плит для испытания на стенде и тратил массу времени как заведующий сектором на разрешение всякого рода мелких и нудных хозяйственных проблем. Когда он успевал — бог его знает, только было замечено, что свет в окне его домашнего кабинета частенько горел далеко за полночь...

В тот день сотрудники Надеждина все были на местах, за исключением отправленной в командировку Стружкиной. Сам Надеждин сидел с Лиановым за столом и обсуждал результаты стендовых испытаний суперлегких плит. Все были заняты работой, кроме Любы Косогляд, которая, выдвинув ящик стола, поглощена была чтением какого-то романа...

Вдруг распахнулась дверь, и вбежала радостная Оля, держа в руках образцы, похожие на бетонные кубики.

— Получилось, получилось! — вскричала Оля, подходя к Надеждину и показывая образцы. — Смотрите, Вячеслав Алексеевич: они затвердели через полчаса и такие прочные, что, когда я их подбросила к потолку и они упали на бетонный пол, ни один ни чуточки даже не треснул! — Голубые Олины глаза сияли счастьем первооткрывателя.

— Ну, Олечка, поздравляю! — от души сказал Надеждин, рассматривая образцы.

Оля потупила взгляд и зарделась:

— Это вас нужно поздравить...

— Меня еще рано, а вот вас — с первым самостоятельным успехом!

— Нельзя потише?! — резко попросила Смычкова, вскинув голову от бумаг.

— Что это за штуки? — спросил Лианов, взяв в руку один из кубиков.

— Сырье для печей, силикатный агломерат, — сказал Надеждин. — Его химический состав соответствует оптимальному, а получили мы его из песка, отсева от дробления известняка и слабого раствора щелочи...

— Слушайте, — с невольным увлечением сказал Лианов, рассматривая кубик, — да ведь это же идеальное сырье...

— От такого идеального сырья отказались сто лет назад! — вмешалась Смычкова, ерзая на стуле.

— Вы имеете в виду брикеты? — поднял на нее глаза Надеждин.

— А у вас что, разве не брикеты?

— Ничего общего, — решительно сказал Надеждин. — Там прочность получали за счет колоссального давления на мощных прессах, а здесь за счет самоотвердения массы.

— И как вы это делаете? — поинтересовался Лианов.

— Приготовленная масса пропускается в виде непрерывной ленты по транспортеру и, после схватывания, разрезается на кубики нужных размеров. Весь процесс поддается полной автоматизации...

— Если бы можно было работать на таком сырье, — снова вмешалась Смычкова, — те же американцы давно бы на него перешли. Но ведь они работают на горных породах!

— Чтобы работать на искусственном сырье, нужно иметь его, — спокойно возразил Надеждин, — американцы же его не имеют, и тем хуже для них...

— Да, любопытно, — вяло обронил Лианов и, словно вдруг утратив интерес к агломерату, сказал: — А впрочем, я здесь не судья... Тут уж главное слово за вами, Ранса Васильевна, — и он поощрительно улыбнулся Смычковой. — О! — взглянул он вдруг на часы, — мне же к Федору Михалычу пора! — И, быстро поднявшись, ушел.

— Интересно, какая у него температура плавления, — задумчиво пробормотал Надеждин, разглядывая образец. — Судя по химическому составу, должна быть не более тысячи трехсот градусов. А все-таки проверить не мешает... Оля, у нас есть свободная печь?

Оля, продолжавшая стоять перед Надеждиным и не сводившая с него восторженных глаз, кивнула:

— Таммановская свободна.

— Печь я не дам! — заявила Смычкова. — Она мне самой нужна!

— Но на ней же никто не работает, — обернулась к ней Оля. — Она холодная стоит.

— Не твое дело! Я сейчас начну плавку готовить!

— Ладно, Оля, — сказал Надеждин. — Пойдите к Ро-

берту и расплавьте у него в высокочастотке,— это будет гораздо быстрее и проще...

Оля взяла образцы и ушла, едва не столкнувшись в дверях со Стружкиной.

— Здравствуй!— бросила с порога Стружкина. Пухлое лицо ее было в красных пятнах, а серые, нагловатые глаза угрожающе уставились в Надеждина, склонившегося над бумагами.

— Здравствуй,— сказала Смычкова.— Как твоя командировка?

— Подожди с командировкой,— махнула на нее разгневанная Стружкина, шагнув к столу Надеждина:— Это на каком таком основании вы отвели мою кандидатуру при выдвижении на доску Почета?

— Положим, отвел вас не я,— взглянул на нее Надеждин,— а общее собрание сектора.

— Я знаю, я все знаю!— Стружкина уперла руки в бока, обтянутые ярким, цветастым платьем.— Что вы там сказали обо мне?..

— То, что вы заслуживаете.

— А-а-а, так я — плохой человек?!— уничтожая Надеждина взглядом, спросила Стружкина.

— Не знаю,— спокойно ответил Надеждин.— Но поступаете плохо.

— Когда я поступила плохо? А ну, говори?!

— Ваш прокурорский тон вам нужно обратить против себя. Ведь это вы, а не я, терроризируете лаборантов...

— Это я... терроризирую лаборантов?!— Стружкина едва не задыхалась от ярости.

— Вам привести примеры?.. Да вот последний, перед вашим отъездом в командировку. Зою кто довел до слез?..

— А она тебе жаловалась?— взвизгнула Стружкина, уверенная, что жаловаться на нее не посмеют, особенно такое безответное существо, как лаборантка Зоя.— Она тебе жаловалась, я спрашиваю?!

— Достаточно, что я был сам свидетелем тому,— бледнея, сказал Надеждин.

— Ах ты, интриган!— замахала руками Стружкина.— Ты думаешь, тебе это так пройдет? Не-ет, ты за это заплатишься! Раиса!— обернулась она к Смычковой.— Я требую расследования на месткоме! И я добьюсь, что его отсюда выметут!

Надеждин смотрел на нее бледный, но спокойный.

— Аля,— сказал он с неожиданной улыбкой,— я недавно вычитал, что существует восемьдесят разновидностей шизофрении. Представляете, восемьдесят!

Стружкина уже слова не могла сказать от ярости. Она только пучила глаза и раздувала ноздри.

— Сам ты шизофреник!— вскочив из-за стола, вдруг закричала Смычкова.— Оскорбить такого человека! Да ее работы внедряются на десятках заводов! А ты что дал институту, кроме своих бесконечных прожектов?! Да наш коллектив гордиться может Алей Стружиной! Разве я не говорила об этом на собрании? Но вы плюете на мнение старших товарищей! Аля! Пошли к Скипидарову!— И, подхватив под руку Стружкину, она увлекла ее к дверям...

Люба Косогляд, уже привыкшая к подобным сценам, с упоением продолжала читать роман, лежащий в ящике стола...

— Сумасшедший дом,— пробормотал Надеждин и, охватив руками голову, несколько минут сидел без движения.

Все-таки он превозмог себя и уже через минуту вновь углубился в работу...

Прошло с полчаса в молчании и тишине, как вдруг открылась дверь — и в комнату вбежала Оля с выражением счастья на лице. В руках она держала пук силикатных волокон красивого лилового оттенка.

— Вячеслав Алексеевич, эврика!— вскричала Оля, кладя перед Надеждиным волокна.— Вы только посмотрите, какое получилось волокно! Мягкое, как шелк! Волокно из силикатного агломерата!

Надеждин радостно вскочил и, щупая волокно, сказал:

— Оля, вы... вы мой ангел-хранитель. Нет, вы спаситель мой!

— От чего же я вас спасла?— изумленно улыбалась Оля.

— От инфаркта, Оленька!— сказал Надеждин, делая к ней шаг навстречу.— Какая же вы молодчина! Расцеловать вас за это!— и он дружески чмокнул Олю в щеку.

Оля зарделась, а Косогляд, кажется впервые найдя предмет внимания более интересный, чем читаемый ею роман, смотрела на Надеждина и Олю с полуоткрытым ртом...

Несколько дней спустя Надеждин заглянул к ребятам Грассика.

— Как ваши успехи? — поинтересовался Грассик, проникательным взглядом пытаясь угадать настроение Надеждина. Но внешне Надеждин был все тот же: весел, энергичен и приветлив.

— Как у юноши — всё в будущем, — смеясь, сказал Надеждин, сядясь верхом на стул и поглядывая на пустующий стол Рассудовой.

— А в настоящем?

— А в настоящем — мышинная возня. Меня бьют склоками, а я — новыми идеями. А дело топчется на месте.

— Ну, вы скромничаете, — покачал головой Грассик. — Вас, говорят, опять на днях в Комитет вызывали?..

— Вызывали. Заслушали еще один доклад. Ну и что? Комитет — это Олимп, а жизнь делается здесь, на грешной земле... Ну, а вы-то как? Как ваши диссертейшн?

— Смотря у кого, — пожал плечами Астраханцев, с симпатией рассматривая Надеждина. — У нас с Валентином — на точке замерзания. У Аллы Львовой — движется к финишу...

— Понятно, — пробормотал Надеждин, постукивая пальцами по крышке стола. — А как Светлана Сергеевна?.. Я ее почти все лето не видел: то я в отъезде, то она. Я приезжаю, она уезжает... — Он это выговорил с чуть заметной грустью.

— Она была в Ленинграде, — сказал Астраханцев. — На конференции по газоплазменному напылению... Сегодня только вернулась.

— Между прочим, — небрежно заметил Грассик, — ее диссертационная работа тоже основательно продвинулась вперед... — он сделал выразительную паузу, — благодаря усиленной опеке Скипидарова.

— Вон как, — машинально обронил Надеждин.

— Вячеслав Алексеевич, — быстро входя, сказал Лианов, — понимаете, какое дело... Приехал представитель ВНИИЭТО, увидел ваши суперлегкие жаропрочные плиты и взмолился: дайте хоть десяток штук. — Лианов говорил с увлечением, и чувствовалось, что просьба ВНИИЭТО, крупнейшего института страны, льстит его самолюбию научного работника. — Они создали новую, оригинальную конструкцию электродов,

а чем изолировать свод — не знают... Только ваша суперлегкая плита может их спасти...

Надеждин выслушал его без всякого энтузиазма:

— А при чем здесь я?

— Как же... Вы — автор...

— Я всего лишь автор, — уточнил Надеждин, — а хозяин этих плит, как и всего здесь, в нашем институте, Скипидаров.

— Ну, — Лианов несколько замялся, — это же формальность, спросить его разрешения...

— Так попытайтесь. Но только я заранее знаю: он наложит вето.

— Почему так думаете?

— По очень простой причине: если ВНИИЭТО внедрит наши плиты, об этом узнает министерство и Скипидарова заставят организовывать опытно-промышленное производство. А зачем попу гармонь? Он и так за внедрение старых разработок получает по шесть окладов премии...

— Ну, что-то вы совсем ополчились на Федора Михалыча, — с ноткой обиды за Скипидарова сказал Лианов и пошел к телефону.

Грассик с Астраханцевым заинтересованно следили за ним. Надеждин скусающе улыбался.

— Федор Михалыч! — набрав нужный номер, сказал в телефон Лианов. — Это Лианов... Федор Михалыч, тут институт ВНИИЭТО просит у нас десяток плит, суперлегких, разработанных Надеждиным, для изоляции экспериментальной печи... Федор Михалыч, но ведь мы закончили стендовые испытания, а они полностью имитируют промышленные условия... — И без того просительный тон Лианова все больше угасал, вызывая на лицах Грассика и Астраханцева чуть заметную ироническую усмешку. — А вот в печах ВНИИЭТО мы и проверим долговечность, Федор Михалыч... Ну, если вы так считаете... Хорошо, — и он со вздохом положил телефонную трубку. — Вы оказались правы, — сказал он Надеждину. — Не разрешил, — развел руками, — а жаль. Ведь с такой плитой можно делать настоящую революцию в печестроении... Ну, ничего, — вдруг фальшиво улыбнулся Лианов, — вы ведь знаете: Федор Михалыч — человек настроения. Я думаю, когда он вернется из Адлера, он будет по-другому настроен... Вот тогда-то мы к не-

му и обратимся. — И он ушел, внушительный и тучный, похожий на Скипидарова в молодости.

— Вот так... уметь надо с начальством ладить, — с усмешкой заметил Надеждину Грассик, — и вас будут ценить.

Надеждин беспечно улыбался.

— А между прочим, Борис лично заинтересован в ваших плитах...

Надеждин поднял брови.

— Как, разве вы не знаете? Его же докторская основана на использовании суперлегких конструктивных материалов для печей с высокой температурой службы.

— Что ж, — сказал Надеждин, — вероятно, Борис Иванович обладает завидным талантом вовремя наступать на горло своей любимой песне. Я этого не умею.

— Напрасно, напрасно, — шутливо нахмурился Грассик.

— Я слышал, конкурс объявили на замещение должности завсектором номер два, — сказал Астраханцев. — Ты подал документы, Слава?

— Мне никто не предложил этого сделать.

— Как? — удивился Астраханцев.

— Не может быть, — пробормотал Грассик.

— Отчего же, — пожал плечами Надеждин, — как раз этого и следовало ожидать: подрывная работа Стружкиной и Смычковой сделала свое дело...

— Вы объяснялись с начальством? — спросил Грассик.

— Я был у Скипидарова — ведь Валунов ничего не решает... И спросил, как он смотрит на мое участие в конкурсе. Он сказал, что, по всей вероятности, мою кандидатуру прокатят. Я спросил, какие же ко мне претензии? Он ответил, что я не умею ладить с подчиненными, читай — со Стружкиной и Смычковой.

— И кого же он хочет видеть заведующим сектором? — спросил Грассик.

— Он предложил подать документы Смычковой.

Грассик присвистнул. У Астраханцева вытянулась физиономия.

— И что же вы намерены предпринять, если ее изберут?

Загадочная усмешка тронула губы Надеждина, и он сказал:

— Об этом мы узнаем очень скоро... Вероятно, мне придется сделать ход конем....

Тут открылась дверь, и вошла Рассудова, чем-то радостно возбужденная, необыкновенно привлекательная в своем новом платье-костюме цвета терракота.

— Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич, — кивнула она Надеждину, быстро направляясь к своему столу.

— Светлана Сергеевна! — восторженно воскликнул Надеждин, светлея лицом и подходя к Рассудовой. — Я, кажется, сто лет вас не видел...

Тактичные ребята, Грассик с Астраханцевым, переглянувшись, молча встали и ушли, аккуратно закрыв за собою дверь.

— Да, да, у меня была масса командировок, — говорила Рассудова, в поисках нужной бумаги выдвигая и задвигая ящики стола, но тон, каким она сказала это, говорил, что командировки для нее не были обременительны.

— Мне столько нужно вам сказать, — с улыбкой продолжал Надеждин.

— Вы знаете, мне так некогда, — мельком взглянув на него, сказала Рассудова с сожалением. — Мне нужно срочно оформить документы на отпуск.

— Вам некогда, но, надеюсь, не настолько, чтобы вы забыли наш разговор в вашем доме?.. — спросил Надеждин, в волнении сжимая пальцы.

— О, я все прекрасно помню, — рассеянно произнесла Рассудова, найдя наконец необходимую бумагу и пряча ее в сумочку.

— Я все еще жду, — Надеждин, улыбаясь, пристально смотрел на Рассудову, — с трепетом жду вашего приговора...

Какое-то непонятное, сожалеющее и вместе непреклонное выражение мелькнуло в глазах Рассудовой, и она сказала мягким, извиняющимся голосом:

— Вот когда я вернусь из отпуска... тогда мы все с вами обстоятельно обсудим. Хорошо?

— И когда вы уезжаете?

— В понедельник.

— Уж не в Адлер ли? — спросил Надеждин, и внезапная насмешка прозвучала в его голосе.

Большие, красивые глаза Рассудовой удивленно расширились:

— Как вы угадали? — спросила она, порываясь к дверям.

— Телепатия, — сказал Надеждин, оставаясь на месте. — Всех вам благ! — и он прощально помахал ей рукой.

— Вам тоже, — деланно улыбнулась Рассудова, скрываясь за дверь.

А в начале сентября, тотчас за избранием по конкурсу Смычковой руководителем сектора, две новости, одна за другой, взволновали умы сотрудников института: исчезновение Надеждина, отозванного в Москву и, по решению большого начальства, оставленного на постоянной работе в Комитете по науке, и неожиданный приезд в НИИ его жены, особы столь странной, что самые яростные недоброжелатели Надеждина должны были признать оправданным его намерение разорвать свои брачные узы...

В секторе Смычковой был обычный трудовой день. Все были на местах: Смычкова, Стружкина, Оля Родникова и Люба Косогляд, читавшая украдкой очередной роман. Смычкова, только что вернувшаяся с обхода рабочих мест, громко возмущалась, расшвыривая бумаги на столе:

— Безобразие! Развелось этих изобретателей, как собак нерезаных! Раньше все работой занимались, а теперь, куда ни придешь, везде изобретают! А кто виноват? Проектер Надеждин! Это он забивал головы молодежи всякой чепухой!

— А что, для вас «изобретатель» — бранное слово? — с обидой за Надеждина спросила Оля, вскинув от стола свои печальные глаза.

— Ты бы уж молчала, — махнула на нее рукой Смычкова. — Я не против изобретателей. Пусть себе изобретают сколько им влезет. Только дома, в нерабочее время. У нас план, у нас сроки, а они изобретают!.. До чего дошло: лаборант Женя Ракитин, здоровенный парень, вместо того чтобы взять кувалду и пойти колоть горную породу, колдует с какими-то тигелечками в муфельной печи! Не видать ему премии в этом квартале!.. Да, Аля, — обратилась она к Стружкиной, — скажи своим ребятам, пусть завтра с утра поедут с Нюрой на завод. Там опытная плавка...

Именно в эту минуту в комнату вошла молодая, довольно стройная женщина в очках и скромном сером костюме. У нее было странное, совершенно отрешенное выражение лица, как будто она крепко-крепко о чем-то задумалась да так и не вышла из своей задумчивости. Впрочем, на нее не сразу обратили внимание, и она, чтобы не мешать возникшему между Стружкиной и Смычковой горячему спору, тихонько опустилась на стул возле бывшего стола Надеждина...

— Ты чего это моими людьми командуешь?! — окрысилась вдруг Стружкина по адресу Смычковой.

— Я не командую. Я даю указание, — Смычкова строго посмотрела на Стружкину.

— А кто ты такая — давать мне указания?!

— То есть как кто?! — возмутилась Смычкова. — Я — завсектором, и не какая-нибудь и. о., а законно избранная конкурсом на пять лет!

— Видела я таких законно избранных! — махнула на нее рукой Стружкина. — Сегодня — ты, а завтра — я!

— Господи! — трагически вскричала Смычкова, закатывая глаза. — И какая только мать тебя воспитала?..

— Не трогай мою мать! — бешено закричала Стружкина, толнув ногой.

Тут незнакомка, незаметно подойдя к Стружкиной меланхолично подала ей совет:

— Вы знаете, я вам рекомендую настоятельнейшим образом заняться шахматной игрой. Это так успокаивает...

— Вы что, ненормальная?! — пронзила ее взглядом Стружкина.

— Не думаю, — покачала головой незнакомка. — Ведь ненормальные не умеют играть в шахматы. А я — шахматистка и даже чемпион среди женщин Урала.

— Ну и катитесь к себе на Урал! — отрезала Стружкина, тщетно пытаясь заняться работой.

— Между прочим, — продолжала незнакомка, — шахматы дисциплинируют не только ум, но и характер. Шахматные игроки такие деликатные, милые люди...

— Да отцепитесь вы! — вскочила с места Стружкина и, едва не сбив с ног незнакомку, ринулась к дверям.

— Вы кто такая, гражданка? — бегло взглянув на нее, спросила Смычкова.

— Я, собственно, преподаватель математики, — подходя к ее столу, представилась незнакомка. — А зовут меня Маргарита Сократовна...

— Вы из подшефной школы, что ли? — нетерпеливо спросила Смычкова.

Но Маргарита Сократовна, обратив вдруг внимание на Олю, разговаривала с ней:

— А вы знаете, девушка, у вас очень чистый, умный лоб. Говорят, по законам классической красоты лоб женщины не должен быть высоким... Вы, наверно, играете в шахматы?..

— Играю, когда есть настроение, — нехотя ответила Оля, без всякого интереса взглянув на Маргариту.

— Вот видите, — кивнула Маргарита, — я всегда угадываю, потому что шахматы воспитывают в человеке проницательность. Вот, например, у вас сейчас грустный, сосредоточенный вид, а это верный признак, что вы решаете в уме шахматную задачу. Я угадала?

— Решаю, — негромко, со вздохом согласилась Оля, — только не шахматную...

— В таком случае не желаете ли сыграть со мной в блиц? — И Маргарита проворно извлекла из сумочки портативные шахматы.

— Извините, — встала Оля, — но у меня сейчас эксперимент. — И вышла из комнаты.

— Вы знаете, — обращаясь к Смычковой, быстро что-то писавшей, сказала Маргарита, — я заметила, что у вас кривой позвоночник... То есть, я хотела сказать, слегка искривлен, — поправилась она в ответ на рассерженный взгляд Смычковой. — Я настоятельно рекомендую вам заняться шахматами. Они вырабатывают безукоризненную осанку.

— Вам, собственно, какая помощь от меня нужна?! — потеряв терпение, резко бросила Смычкова.

— Что вы! Мне ничего не надо, — простодушно пояснила Маргарита. — Я просто жду своего мужа. Он написал, что будет ожидать меня в комнате номер десять. Ведь это десятая комната?.. Он меня просил приехать, дать ему развод... Вы не думайте, — продолжала она доверительным тоном, — я совсем не против развода. Все-таки, знаете, общность интересов — главное в супружеской жизни, а он, к сожалению, совершенно равнодушен к шахматам. Не понимаю, — пожалала пле-

чами Маргарита, — как можно быть равнодушным к этой гениальной игре. Возьмите хотя бы королевский гамбит. Ведь даже само расположение фигур создает у игроков ощущение гармонии и красоты.

— Простите, — перебила ее Смычкова, вставая и направляясь к дверям. — Я уйду на совещание. Вы можете здесь подождать... А вы не ошиблись? — внезапно осенило Смычкову. — Может, вы попали не в ту лабораторию? Как фамилия вашего мужа?

— Его зовут Надеждин, — сказала Маргарита.

— Хватились! — злорадно усмехнулась Смычкова. — Его уже и след простыл!

— Простыл?! — широкими глазами смотрела на нее жена Надеждина.

— Он улетел в Москву!

— В командировку?

— Насовсем. Вашего муженька прокатили на воронных во время конкурса, и он от позора бежал.

— Разве в Москву сбегает? — спросила Маргарита.

— Он нашел себе каких-то покровителей, — берясь за ручку двери, снизошла до объяснения Смычкова. — Они пристроили его каким-то чиновником в Комитете по науке.

— А вы знаете, — радуясь чему-то, рассмеялась Маргарита, — такой финал напоминает ферзевой эндшпиль. Это же страшно интересно! Будьте так добры, расскажите подробности...

— Пусть вам расскажет какой-нибудь чокнутый шахматист! — обрезала Смычкова, захлопнув за собой тяжелую дверь.

Озадаченно постояв, Маргарита двинулась следом, но, проходя мимо Любы Косогляд, неожиданно спросила, кивая на ящик стола:

— У вас там не шахматы спрятаны?..

Люба, сердито очнувшись от чтения, задвинула ящик в стол и молча взялась за работу...

...На этом можно было бы и закончить рассказ о пребывании Надеждина в НИИ, если бы, примерно полгода спустя, не последовало неожиданное, в высшей степени странное продолжение этой истории.

Однажды, в ясный весенний день, во время обеденного перерыва, когда НИИ напоминает растревожен-

ный улей, в обширном, современном вестибюле, где взад-вперед сновали спешащие в столовую и отобедавшие, остановились у доски приказов двое или трое, чтобы ознакомиться с только что прикомандованным приказом Комитета по науке. Несколько междометий, сопровождавших чтение приказа, привлекло к доске еще двоих-троих, и скоро целая толпа, среди которой оказались и сотрудники лиановской лаборатории, обсуждала содержание этого любопытного документа. Чрезвычайное волнение охватывало толпящихся сотрудников все более и более, и среди шума голосов можно было разобрать отдельные реплики:

— Невероятно! Невероятно!!

— А что такое? Что случилось?

— Читайте приказ Комитета...

— Что-что, Надеждин?.. Не может быть!

— Да я вам говорю!

— А что, что Надеждин?!

— Его назначили одним из главных специалистов Комитета по науке, и он курирует наш институт!

— Ого! Вот это карьеру сделал парень!

— Да,— слышался голос Грассика, обращавшегося к Астраханцеву,— ба-альшим человеком будет Вячеслав Алексеевич... Каюсь, я его недооценил сначала.

— Я рад за него,— сказал Астраханцев.— Очень.

— Подумаешь, Надеждин! — несколько в стороне разорялась Смычкова.— Да какой из него специалист? Да еще главный... Тут что-то не так.

— Я всегда говорила, что он карьерист,— вторила ей Стружкина.

А у другого края толпы стояла потрясенная Расудова и, чуть не плача от досады, говорила Лялечке Ляляевой:

— Как я хочу в Москву!..

— ...Да, как ученый он вполне на высоте,— солидным голосом рассуждал Лианов, окруженный целым синклитом начальников лабораторий.— Нет-нет, кандидатура вполне достойная...

— А что Федор Михалыч? Как он воспринял эту весть?— спросили Лианова.— Помнится, он недолюбливал Надеждина.

— Что вы, что вы! — тотчас возразил Лианов.— Он всегда ценил его.

— Но у Надеждина ведь были крупные неприятности.

— А при чем Федор Михалыч? — сделал удивленный вид Лианов. — Под Надеждина подкапывались мелкие завистники... Впрочем, — значительным тоном добавил Лианов, — не будем называть их фамилии. — И он покосился в сторону Смычковой и Стружкиной.

— Ах, вон как!.. — воскликнул сомневавшийся с полным доверием к словам Лианова.

— Федор Михалыч уже звонил в Комитет, — веско продолжал Лианов. — И поздравил Вячеслава Алексеевича.

— Ну, замечательно! — кто-то восхищенно рассмеялся. — Свой человек будет в Комитете!

— ...Надеждин... и курирует наш институт. Невероятно! Невероятно!

...А в двух шагах правее стояла Оля Родникова и, неуверенным движением распечатывая письмо, изумленно шептала:

— Из Москвы?.. — Она пробежала глазами записку, вложенную в конверт, и лицо ее озарилось радостью, прорвавшейся в невольном восклицании: — Ой, Любочка!..

— От кого это? — не понимая, смотрела на нее сутулая и близорукая от неумеренного чтения романов Люба Косогляд.

— Ну конечно же от Славика, — смеясь и плача, отвечала Оля. — Славика Надеждина!..

И вдруг, заглушая шум голосов, заговорило радио НИИ:

— Передаем экстренное сообщение! Всем подразделениям института приготовиться к встрече гостей! Завтра, в девять ноль-ноль, к нам прибывают министр Маркел Аркадьевич, представитель ЦК и главный специалист Комитета по науке товарищ Надеждин, а также сопровождающие их лица! Повторяем! Завтра, в девять ноль-ноль, к нам прибывает министр Маркел Аркадьевич...

Вот эта новость и была финалом только что рассказанной истории, финалом, заставившим поволноваться многих... А что касается событий, вызванных визитом в институт министра и сопровождающих лиц, об этом речь может пойти в другом рассказе...

Человек из НИИ

*День
Лени Маркина*

1 Ему сорок лет, но вы ни за что не дадите ему столько, и случись вам обратиться к нему на улице, вы назовете его молодым человеком. Рост у него метр девяносто, вес — сто килограммов, и приятно располневшей фигурой он напоминает Пьера Безухова.

Стоит только взглянуть на его румяное, жизнерадостное лицо, на безмятежно-серые, с голубизной, глаза за стеклами очков, на его приоткрытые полные губы — и у вас поднимается настроение. Рассердиться, а тем более накричать на него невозможно: он обесоружит вас своей простодушной ребячьей улыбкой. Даже походка у него как у подростка-увальня: развалистая, с чуть приподнятыми лопатками и вялым поманиванием длинных рук. Впрочем, вполне может быть, что это — походка волейболиста. Когда-то, студентом, он играл в волейбольной команде, да и сейчас еще любит от случая к случаю порастрясти у сетки лишний жирок.

Говорит он тенорком, смахивающим больше на мальчишеский альт. Представляете себе такой голосок у великовозрастного дяди? И, может, поэтому сослуживцы между собой редко называют его «Леонид Сергеевич», как следовало бы величать научного сотрудника со степенью, а всегда почти — «Леня Маркин», то есть так, как прозывали его в школе и в институте.

Как у всякого человека, у Лени Маркина есть свои слабости. Он любит хорошо поспать и спит на отдельной кровати, сплошь полированной, на упругом матрасе, набитом морской травой, источающей свежие запахи. По утрам, когда его разбудит жена, он произносит спросонок: «Угу» — и продолжает лежать с закрытыми

глазами, свернувшись калачиком, ощущая с той минуты утреннюю негу каждой мышцей своего большого, нежного тела и странно слыша сквозь пелену полусна свое уютное посапывание.

Так он блаженствует еще несколько минут. Потом поднимается, делает три-четыре небрежных движения руками, что означает у него гимнастику, и идет умываться.

Поскольку он частенько просыпает, а пожертвовать завтраком для него — трагедия, то времени на бритье у него не всегда хватает, и, посмотрев в зеркало на редкие белокурые волоски на своем подбородке и над верхней губой, он решает, что и так сойдет, что почти незаметно, и отправляется на работу небритым.

В лабораторию он является в чистом, наутюженном костюме, в свежайшей белизны сорочке и при модном галстуке, который может, однако, висеть вкривь и вкось на его коротковатой пухлой шее. За его одеждой тщательнейшим образом следит жена, вкусу которой может позавидовать художник-модельер.

Войдя в лабораторию, в комфортабельно светлую комнату, где вдоль стен сверкают никелем и стеклом новейшие приборы, он первым долгом обменивается рукопожатием с сотрудниками, каждого одарив своей открытой, широкой улыбкой. Потом садится за стол.

Постепенно, по негласной традиции, его обступают коллеги, и начинается оживленный обмен новостями, от радиогазетных сенсаций до личных, семейных событий. Особенно шумно они обсуждают спортивные новости, изошряясь друг перед другом в знании подробностей, и Леня Маркин здесь нередко одерживает верх, потому что зрелища спортивных состязаний — и в первую очередь хоккей и футбол — значат для него не меньше чем коррида для испанца.

Наконец запас новостей иссякает, и сотрудники разбредаются по местам, на весь день зарядившись от шефа отличнейшим настроением, что способствует, как вы понимаете, повышению их работоспособности. Затем Леня Маркин надевает халат — в зависимости от того, обязательно или не обязательно его присутствие на эксперименте, и, мурлыча под нос какой-

нибудь любимый мотивчик, отправляется с заданием к лаборантам...

Леня Маркин — агрохимик. В этой области ему принадлежит десятка два научных статей, пять из которых опубликованы индивидуально — во времена написания диссертации, а все остальные — в соавторстве с подчиненными. С тех пор как человек защитил кандидатскую и стал заведовать сектором, соавторство — естественная вещь, не правда ли? Леня Маркин тоже так считает. Он подбрасывает своим ребятам идеи, а они их разрабатывают. Такое разделение труда вполне ему импонирует. Он чувствует себя неким «мозговым центром» и, освободившись от текучки повседневности, может спокойно сидеть и думать. Так он и делает. Большую часть времени он проводит за письменным столом, листая научные фолианты и размышляя.

Признаться, такая однообразная деятельность довольно скоро утомляет его могучее тело. Он начинает испытывать двигательное голодание и, отвалившись от стола, идет поразмяться и поведать друзей.

В НИИ он поступил тринадцать лет назад, по окончании аспирантуры, и немудрено, если учесть общительность его характера, что друзей у него навалом. Да и вообще, вряд ли найдется в институте человек, который бы не был знаком с Леней Маркиным или не был о нем наслышан. Такую популярность он снискал не столько как ветеран института, но, главным образом, благодаря своим общественным талантам. Когда Леня Маркин был еще младшим научным сотрудником, весу у него было меньше, а энергии больше. Не забывая двигать диссертацию, он с ходу впрягся в самодеятельность и в короткое время стал, что называется, ее душой. Ведь еще со студенческих лет полюбив самодеятельную сцену с ее театральной романтикой ярких огней, веселья и наградных аплодисментов, он появился в НИИ как мастер эстрады: он неплохо пел, преображая свой альт в хрипловатый баритон, аккомпанировал на гитаре, танцевал, как опереточный артист, и даже сочинял сценарии забавных скетчей. Неудивительно, что с приходом такого энтузиаста эстрадный ансамбль института года три удерживал первенство среди городских НИИ...

Но то было в прошлом. Теперь, когда он, охладев, расстался с этим увлечением, он вспоминает о прежних временах со смешанным чувством грусти и добродушного тщеславия: вот, мол, нет меня, и самодеятельность развалилась...

И все же слава Лени Маркина-артиста до сих пор живет в НИИ как предмет неистощимых разговоров, и среди тех, к кому он заходит поболтать, нет-нет да найдется кто спросит:

— Леонид Сергеевич, а помнишь вечер в таком-то году? Ну и давали вы тогда дрозда, зал содрогался от хохота!— И начинаются воспоминания, которые балзамом растекаются по сердцу Маркина.

Потом вдруг кто-то скажет:

— Что же ты, Леня, взялся бы опять за самодеятельности! У комсомолии не ладится без тебя. Сам видишь, какие дохлые вечера пошли.

Леня Маркин польщенно улыбается, но отрицательно качает головой:

— Не... не...

— Ну почему же нет?

— А!.. кому теперь это надо...

— Ты уж признайся: докторскую делаешь втихаря?

Леня Маркин и виду не подаст, что ему неприятен этот вопрос, и сразу же переключается на анекдот:

— Слышали анекдот о докторской?

— А ну...

— Старик профессор встречает своего давнишнего ученика, уже кандидата. А у того в руках огромный, раздувшийся портфель, того и смотри, по швам лопнет. «Что,— показывает на портфель профессор,— докторская?» — «Нет,— уточняет ученик,— ветчинно-рубленая!..»

Ребята гогочут, и вместе с ними смеется Леня.

Иногда он заходит к заведующему какой-нибудь лабораторией и, про себя позавидовав его отдельному кабинету, заводит разговор. Маркин знает: с солидными людьми и разговоры должно вести солидные. Поскольку ограниченных фанатиков науки среди больших ученых — единицы, то редкий из руководителей лабораторий не имеет своего серьезного хобби, и Леня Маркин, понемножку всем интересующийся, любителя

литературы расспросит о журнальных новинках и о частной жизни писателей, меломана попросит просветить его по части музыки, заядлый театрал расскажет ему о нашумевшем спектакле, а любитель политики прочтет импровизированную лекцию о международном положении с такими деталями и таким блестящим анализом, который не всегда услышишь и по радио.

Пополнив запас своей эрудиции, Леня Маркин направляется в столовую, потому что время — обед.

После плотного обеда в профессорском зале включаться в научные занятия особенно тяжело. От желудка приятное тепло разливается по всему телу, мягко вступает в голову, туманит глаза, и веки Маркина грузнеют. Несколько минут он мужественно борется с дремотой, потом не выдерживает: облокотившись о стол, подпирает щеку и лоб своей широкой развернутой ладонью и, приняв позу углубленного в чтение человека, сам, пользуясь тем, что сидит спиной к сотрудникам и дверям, погружается в сладкую, чуткую дрему.

Обыкновенно стук двери или громкий вопрос мгновенно выводит его из сонного забытья. Леня вздрагивает, шелестит для вида страницами и, чувствуя, что не додремал, вновь закрывает глаза.

Ни каких утрызений совести за такое времяпрепровождение Леня Маркин не испытывает, так как убежден, что не вздремни он эти несколько минут, не приведи себя в нормальную форму, производительность его труда резко бы упала, и ему, конечно, трудно возразить. В самом деле, чуточку вздремнув, он ощущает необычайный прилив энергии и, бодро поднявшись, «дозором обходит владенья свои»: поинтересуется у ребят результатами экспериментов, подискутирует с ними по этому поводу, даст «цэу» о направлении дальнейших исследований и отправляется взглянуть, чем занимаются лаборантки.

Лаборантки Лени Маркина — молодые девчонки, студентки-заочницы. Они ценят шутку и веселое слово, и шеф никогда не упускает случая позубоскалить с лаборантками, тем более что среди них ведь есть и хорошенькие, а Леня Маркин любит красоту. Взглянув затем в окуляр микроскопа на структуру клетки

какого-нибудь гибридного злака и полистав рабочие журналы, он уходит к себе, с удовлетворением сознавая, что нравится своим помощникам. И он им действительно нравится своим демократизмом и благодушием, и они всю используют его доброту, без конца отпрашиваясь по своим делам... За глаза они ласково зовут его Ленечкой...

Так протекает его время и, наконец, приближается к четырем часам, роковым для Лени Маркина. В оставшиеся два часа мозг его отказывается воспринимать монотонные хитросплетения научных текстов. С тоской поглядывает он на стрелку часов, почти остановившуюся, и просто не знает, что делать и как убить эти два злополучных часа. Он сидит и размышляет: «Ведь научно доказано, что умственный труд утомительней физического. А раз так, то, значит, рабочий день ученого должен быть часа на два короче, ну хотя бы на час... Нет, восемь часов — это уж слишком!»

Не знаю, во что бы превратили Леню Маркина два этих часа отсидки, если бы научная работа не была переплетена с системой административной и общественной деятельности, благодаря чему институт только и может называться «слаженным механизмом», и поэтому, по меньшей мере через день, во второй половине случаются мероприятия: всякого рода собрания, совещания, заседания и вызовы к начальству, — они-то и приходят на выручку Маркину, который, в принципе, хотя и противник административщины, но в данном случае не без удовольствия спешит на них, чтобы иметь приятную возможность переключить внимание с утомленного зрения на слух.

Тут следует заметить, что, пожалуй, единственным мероприятием, имеющим прямое касательство к науке, с уверенностью следует назвать заседание секций ученого совета, и тем не менее на них-то Леня Маркин идет без всякого энтузиазма, потому что научный вес его гораздо скромней, чем общественный, а если ему предстоит еще выступить там с отчетом, то он предпочел бы лучше промучиться за столом два последних часа. Дело в том, что в глубине души Леня Маркин самолюбив, и его легко ранят дотошные, а иногда до невозможности придиричivé коллеги своими бесконечными вопросами, от которых он с таким тру-

дом отбивается... Но Леня Маркин человек отходчивый, и наутро он уже не помнит неприятных переживаний.

Если же мероприятий не предвидится и его представляют самому себе на два последних часа, то ничего ему не остается, как повторить свой дружеский вояж по институту...

Правда, в иной день ему случается вообще не думать о времени. То выпадет возможность поехать с утра в другой институт — и тогда он с обеда свободен, то вызовут за чем-нибудь в академию, то пригласят послушать защиту диссертации, а то — конечно, это редкая удача — Леня Маркин едет оппонентом на защиту...

Защита, где Маркин выступает в роли оппонента, и непременно после этого банкет — настоящий праздник для него, и он готовится к нему заранее, за целую неделю ощущая радостный подъем от предвкушения удовольствий. Он извещает об этом радужном событии жену, друзей, коллег, с веселой оживленностью рассказывая, где и кто защищается, и когда произносит имя первого оппонента, видного ученого, профессора, доктора, и прочая, и прочая, то весь сияет простодушным упоением, и не позавидовать ему в ту минуту просто нельзя.

Наконец желанный день настает. Леня Маркин надевает снежно-белую французскую сорочку с твердым, отлично пригнанным к его массивной шее воротничком, повязывает черный с красноватой искрой галстук, облачается в черный парадный костюм из тонкой английской шерсти, натягивает на ноги носки-эластик, точно такой же расцветки, как галстук, надевает модные голландские штиблеты, отливающие черным лаком, — и он готов. Остается только еще раз взглянуть на себя в трюмо, причесаться, заложить в нагрудный кармашек сложенный вчетверо мерсеризованный платок, с таким расчетом, чтобы сверх кармана оставить узкую, контрастную на черном фоне полоску белизны, и можно звать жену; а услышав от нее: «Хорош, ладно уж...» — отправляться. Такси, заказанное диссертантом, ждет его.

Вот он, высокий, почти элегантный в своем превосходном костюме, неторопливо поднимается по мрамор-

ной лестнице в старинный актовый зал с полуциркульными окнами, приветствуя по пути знакомых коллег, и подходит к первому оппоненту, чтобы с достойной, сдержанной улыбкой пожать его холодную старческую руку, затем — к председателю совета, дабы представиться ему, и, скромно отойдя к трибуне, где волнуется диссертант, своим, дружеским тоном говорит ему несколько добрых, успокоительных слов. Чувствует он себя великолепно, легко, непринужденно, и ему очень хочется подойти и помочь диссертанту повесить плакаты. Но это конечно же неприлично.

Сама процедура защиты — скучна и утомительна для Маркина, но предстоящее внимание ему, как оппоненту, скрашивает его нетерпеливое ожидание...

Но вот, вслед за профессором-оппонентом, наступает и его черед. Леня Маркин выходит к трибуне и, пользуясь своим талантом чтеца-декламатора, с блеском прочитывает отзыв, почти не заглядывая в текст, и испытывает в те минуты очень приятное ему артистическое волнение.

Когда оглашают результаты голосования и к диссертанту подходят с поздравлениями, Леня Маркин жмет ему руку так искренне, так горячо, так щедро улыбается своей простодушной улыбкой, что раз и навсегда покоряет молодого кандидата.

А вечером, в банкетном зале хорошего ресторана, за длинным, красиво сервированным столом, где высятся бутылки с шампанским и коньяком, собираются те, кто оказался совиновником этого торжества. Искрится шампанское в звенящих бокалах, на молодых и старых лицах сияют улыбки, то здесь, то там произносятся тосты: за успех диссертанта, за науку и непременно за здоровье оппонентов. И затруднительно сказать, кто больше чувствует себя именинником — диссертант ли, взволнованно соседствующий с главным оппонентом, или же сидящий между симпатичными девушками Леня Маркин. Больше всех и обаятельнее всех улыбаясь, он делает комплименты дамам и, следя за выражением лица седовласого профессора, решается один-два раза громко пошутить. При этом он не забывает ухаживать за симпатичными соседками и время от времени отпускает им что-нибудь забавное из того арсенала фактов, которых он поднабрался от своих эрудированных сослуживцев.

В короткое время он всех очаровывает, и дамы вслух говорят о нем: «Какой же он милый, наш второй оппонент...»

По мере того как бутылки пустеют, а жизнерадостный шум за столом все растет, многолюдная компания разделяется на более интимные группы, и в центре одной из них оказывается Маркин. Он в ударе. И без того высокий тонус его приподнят коньячком еще выше. Он без конца острит, смеется, улыбаясь, философствует, а душа его раскрывается для больших, глубоких чувств, и высечь первую искру в этой душе предназначено... женщине, и женщине красивой, потому что Леня Маркин любит красоту. На нее, такую женщину, самую красивую на банкете, он давно уже и длительно смотрит, к ней в основном обращает свое веселое красноречие.

В самый нужный момент вступает на эстраде джаз, и волна энергичной, странно будоражащей музыки смыкает сидящих за столом к проходу и танцевальному пятчку. Джаз Леня Маркин обожает, потанцевать всегда не прочь и на танец приглашает самую красивую. Он танцует и, напевая под мелодию джаза слова на ухо партнерше, чувствует себя влюбленным. На третьем-четвертом танце он говорит ей, какая же она красивая, и, понимая по ответной улыбке, что это нравится, начинает потихонечку ластиться...

Потом, когда в банкетном зале гасят свет и веселье кончается, ему порой перепадает проводить красивую. Они сидят на заднем сиденье мчащегося такси и самозабвенно целуются... Простившись со своей мимолетной, несвободной, как все красивые, знакомой и, возможно, растревожив в этом, по ее словам, давно не любившем сердце надежду, Леня Маркин возвращается домой.

Рассказов о банкете хватает Маркину на несколько дней, а воспоминаний... такие воспоминания остаются в нем навсегда...

К сожалению, банкетные встречи выпадают на долю Маркина не чаще одного-двух раз в году, и ему самому такие события представляются наподобие оазисов в пустыне его обыденной жизни. А в обыденное время он вынужден изощряться в убивании двух последних часов и, дождавшись наконец звонка, едет домой.

Его дом — как у англичанина — его крепость. Здесь все есть, что нужно для отдыха интеллигентного человека, и только здесь он чувствует себя вполне счастливым.

Вот он входит, переоблачается в легкий, свободного покроя домашний костюм и, поужинав в кругу своей симпатичной жены и шестиклассника-сына, не по годам, в папочку, долговязого, отправляется отдыхать.

Признаться, его двухкомнатная квартира немножко тесновата для запросов кандидата, имеющего право на дополнительную площадь в виде кабинета, но передняя комната, со вкусом обставленная рижской мебелью, которую раздобыла где-то жена Лени Маркина, достаточно удобна. Он включает свой большеэкранный, новейший из черно-белых телевизоров и усаживается в низкое удобное кресло, блаженно отваливается на спинку и вытягивает свои длинные ноги. В ожидании предстоящего матча или кино он протягивает руку к журнальному столику за пачкой газет и начинает их просматривать, но вскоре отбрасывает на место. Все газеты кажутся Лене Маркину удручающе скучными и однообразными, поэтому его интересуют преимущественно зарубежные новости и четвертая страница «Вечерки». Он любит читать объявления о защите диссертаций и некрологи. Втайне мечтая о докторской, он вывел утешительную для себя статистику: оказывается, докторов умирает больше, чем защищается, что вселяет надежду в Маркине ожидать в скором времени некоторых послаблений в жестких требованиях к докторским диссертациям.

Леня-Маркин давно уже лелеет мысль о докторской, но осуществить благое намерение мешают ему всевозможные «но». Во-первых, докторская — это своеобразный свод кандидатских, а для того чтобы стать руководителем нескольких кандидатских и претендовать тем самым на авторство свода, нужно получить сперва лабораторию, — начальство же почему-то не спешит выделить сектор Маркина в самостоятельную лабораторию. Во-вторых, чтобы быстро сделать диссертацию, нужно применить какой-нибудь новейший метод исследования, например, математическое планирование, во много раз сокращающее время и количество экспериментов, но

Леня Маркин никогда в ладах с математикой не был, и когда он представляет, сколько бы ему пришлось проштудировать книг по математике, у него заранее судорогой сводит челюсти от скуки. Существует и еще одно «но». В школе и в институте все предметы, за исключением разве что математики и физики, давались Лене Маркину настолько легко, что он не привык и не умел утруждать себя долговременным и напряженным, а порой — неистовым сосредоточением на каком-то одном предмете. Но ведь только при такой работе докторант может рассчитывать на успех, и Маркин отлично это знает. Но он также знает, что последствия такого сумасшедше-каторжного труда нередко приводили к неожиданному печальному концу, когда новоявленного доктора, вскоре же после защиты, хватал инфаркт. Ну разве может Леня Маркин — хотя бы и во имя докторской — пойти на такой отчаянный риск? Конечно, нет. Поэтому он сидит у телевизора и скромно мечтает о первом этапе: о получении лаборатории. «Наберу башковитых аспирантов, — грезит он с внутренней улыбкой, — а там видно будет. Потихоньку-полегоньку, глядишь — через десяток лет и докторская выскочит. Пятьдесят лет — совсем не много для доктора...»

В тайных своих мечтах он даже жене не признается, и когда она, досадуя на инертность супруга, приводит в пример его ровесников, пишущих докторские, он отделяется шуточками или, развернув последний номер «Вечерки», тычет пальцем в объявление:

— О, читала?

— Что? — не хочет смотреть в газету жена.

— Корнилов-то из МГУ... все...

— Что «все»?

— Концы отдал.

— Ну и что?

— Как что?! Едва успел защитить докторскую — и конец. Нужна мне такая докторская!

— Но должен же к чему-то стремиться человек!

Маркин иронически улыбается:

— Жорка Сеничев вон всю жизнь стремился... Умница, честнейший малый. Когда-то я завидовал его таланту. А чего добился? Главный инженер СМУ. Мотается по стройкам без семьи и без угла. В сорок лет весь

седой и голова дергается, как у психа. А твоя симпатия Зюзин? Двенадцатый год киснет в какой-то районной больнице и в результате спился...

— Зато какой он хирург! Артист своего дела!

— Тем более... Нет, милая, период романтики кончился, и нужно просто жить, жить со всей полнотой радости!

— А, ну тебя! — машет на него жена и уходит в соседнюю комнату.

Тут несколько слов придется сказать о жене Лени Маркина.

С Ниной, будущей своей женой, он познакомился на танцах в парке. Он кончал тогда аспирантуру, а она — медицинский факультет. Нина влюбилась в него. Что же касается Лени Маркина, то даже для жены остаются тайной его чувства к ней, потому что, несмотря на свой открытый характер, он имеет привычку о самых серьезных вещах говорить с такой улыбкой, что не сразу поймешь, где у него шутка, а где нет. И первое «люблю», как и последующее «конечно, люблю», он сопровождал улыбкой. Во всяком случае, прежде чем расписаться, ему пришлось пару раз подраться из-за нее. И Леня Маркин считает, что она того стоит. У нее миловидные, нежные черты лица, большие карие глаза под тонкими дугами бровей и блестящие черные волосы, мягкой волной обтекающие щеки и шею, а ее фигурка могла бы сделать честь любой акробатке.

Они живут уже четырнадцать лет, но она все так же молода и жизнерадостна, его жена, как в дни их знакомства, и Леня Маркин гордится ею, ее фигурой, свежестью лица, умением одеваться и ее хозяйской сметкой.

Характеры у них подходят друг для друга, потому что жена Лени Маркина такая же добрячка, как он сам. Но взгляды их порой расходятся, и прежде всего это касается досуга.

Два года назад Нина поступила в аспирантуру и, окунувшись в новую жизнь, сходную вольготностью со студенческой, почувствовала такой молодой азарт, что, словно желая расплатиться за трудные годы работы хирургом, когда у нее не хватало времени вырваться даже в кино, решила потряхнуть стариной и заявила:

— Хватит дома сидеть, Маркин! Мы с тобой ни черта Москвы не видим, москвичи называемся! Где мы с тобой бывали? В трех-четыре театрах? А их в столице тридцать два, не считая зеленых и летних. Мы же совсем еще молодые! Я хочу веселиться, хочу танцевать! Я мечтаю побывать во всех ресторанах, слышишь, Маркин, во всех, до единого! Каждую субботу буду теперь вытаскивать тебя в центр. Учти!

Леню Маркина поразила энергия жены. В самом деле, тянуть аспирантуру, и не без успеха, между прочим; тянуть хозяйство по дому; воспитывать сына, заботы о котором муж всецело доверил жене; успевать следить за своей красотой, да еще не забывать о развлечениях,— на такое не каждый способен. Но Леня Маркин стал слишком тяжел на подъем, чтобы разделять ее энтузиазм, и раздосадованная супруга пригрозила:

— Хорошо, Маркин! Кончу аспирантуру — увидишь, ни единого вечера дома не буду сидеть! Хочешь — сиди один!

На что Леня Маркин лишь улыбнулся:

— Давай, давай...

Леня Маркин — домосед, и этим все сказано.

Когда по телевизору нет ничего интересного, он сражается с сыном в настольный хоккей или с детективным романом в руках ложится на диван. Если же читать неохота, то можно сходить к соседям, перекинуться в преферанс или «сгонять» шахматный блиц, и так как Леня Маркин здорово набил на этих блицах глаз и руку, то возвращается он, как правило, ликующим победителем.

Примерно раз в две-три недели к ним забредают гости, друзья по работе, и Маркины встречают их с таким же шумным радушием, с каким встречают близких родных после долгой разлуки. Гостей усаживают на диван-кровать, придвигают столик, ставят на него бутылку с хорошим вином, закуску — причем хлопочет, как всегда, хозяйка, а сидящий в кресле хозяин развлекает их беседой, — и как только телевизор загремит спортивным маршем, приглашают друзей посмотреть матч. Леня Маркин «болеет» всех темпераментней, то и дело шлепает себя по ляжке и вскрикивает резким тенорком:

— Ну!! Эх, шляпа! Такой мяч (такую шайбу) смазаты!

После матча приглашают и заводят магнитофон. Пока распивается вино, компания слушает Высоцкого и спорит о политике.

Политические взгляды Лени Маркина — самые радикальные, и если бы вам пришлось услышать, как, сидя за столом, он режет правду-матку, как лихо критикует начальство и предлагает смелые проекты реформ, то вы бы ни за что не поверили, что это тот самый Маркин, что на собраниях сидит молчит с неизменным детективом в руках или, прикрыв за стеклами очков глаза, потихонечку дремлет. Но это тот же самый Ленья Маркин...

В конце концов гости устают и от политики, и от танцев под магнитофон, и от хорового лирического пения, и нужна разрядка. Тогда распаленный весельем хозяин просит сына принести гитару, кладет ее на колено и, огрубив свой голос под хриплый баритон, изображает Высоцкого. Это у него выходит классно, и ему горячо аплодируют...

А если он пьян и пьяны гости и за окном уже ночь, то Ленья Маркин заводит «Лунную», открывает голубоватый томик Есенина и с чувством, с артистическим подъемом читает под звуки сонаты «Черного человека». Гости бешено аплодируют, и лицо Лени Маркина розовеет от удовольствия...

Но вот пора прощаться. Гости благодарят хозяев за вечер и уходят, от души завидуя этой счастливой семье. А счастливые супруги укладываются спать, и Ленья Маркин мечтательно вздыхает со своей кровати:

— Нин, а хорошо бы нам купить цветной телевизор, а?

— Ну и запросы у тебя, Маркин! Каждое лето едешь на юг, собираешься в заграничное турне, а теперь тебе еще и цветной телевизор! Спи-ка давай!

— Ничего,— успокоительно улыбается Ленья,— вот поднатужимся — и купим.— И, выключив ночник, засыпает сном праведных.

Ленья Маркин 2 Ленья Маркин человек терпеливый,
делает карьеру а терпение — великое благо; рано или поздно оно вознаграждается сторицей. Не

прошло и трех лет после юбилея сорокалетнего Маркина, и предмет его вожделенных надежд — бразды правления лабораторией — оказались в его руках. Назначение это явилось следствием события неожиданного и трагического... Шеф Лени Маркина, несмотря на свой преклонный возраст обладавший замечательным здоровьем, едучи в автобусе, во время торможения налетел бедром на железную стойку, и тромб, образовавшийся от этого удара, привел старейшего из институтских могижан к скоропостижной смерти. В лаборатории покойного профессора служил один-единственный кандидат наук — Леня Маркин, и естественно, что он-то и остался преемником на этом столь ответственном научном посту. Правда, перед должностью его стояли три не очень-то приятных буквы «в. и. о.», но Леню Маркина сие не особенно обескураживало, ибо он рассудил, что ничего не существует более постоянного, чем временное; к тому же в институте ожидался в скором времени конкурс замещения должностей, и Леня Маркин, как свой человек в НИИ, имел все основания пройти по конкурсу и утвердиться в должности не менее как на пять лет.

Мысль о том, что наконец-то у него своя лаборатория, доставила Маркину такую радость, что несколько дней он ходил и блаженно улыбался, как влюбленный юноша. Но вот он перебрался в маленький, уютный кабинет покойного профессора и приступил к обязанностям «шефа»... Правда, среди сотрудников лаборатории модное это словечко применительно к Маркину пока еще не привилось, но сам Леня Маркин в душе называл себя шефом. Впрочем, он ничем не выдавал своего превосходства и внешне оставался таким же рубахой-парнем, как и раньше. Лабораторные приятели его по-прежнему могли зайти к нему в свободную минуту обменяться новостями, рассказать или послушать свежий анекдот, и только глаз особо проницательного человека мог заметить начало сложных изменений, совершавшихся в его душе. И прежде всего это касалось честолюбия Маркина. Пожалуй, в каждом из нас, коль хорошо поискать, найдется червячок честолюбия, но в подавляющем большинстве случаев этот червячок, не найдя питательной среды, с годами погибает; у Лени же Маркина произошло наоборот: его червячок честолюбия стал неожиданно и быстро расти, а питательной средой для этого роста яви-

лось то, что в той или иной мере сопутствует руководящей должности,— почет и уважение руководителю... Тут должен я признаться, что уважение, предупредительность, внимание, которыми пользовался Леня Маркин, глава лаборатории, были чисто внешними, как проявление одной из тех условностей, которые мы сами создаем и которым неукоснительно следуем, ибо Леня Маркин, как вы помните, ни на стезе организатора, ни на стезе ученого талантами никогда не блистал и поэтому не мог рассчитывать на подлинный авторитет среди коллег. Но тем не менее никто из них и виду не подал, что считает Ленью Маркина не на месте, и тот небольшой ореол уважительности, которым — вполне, впрочем, заслуженно — окружали старого профессора, как бы по наследству перешел и к новому руководителю... Конечно, придирчивый читатель может обвинить сотрудников лаборатории в известной доле лицемерия, но, во-первых, как вы убедитесь позднее, вывод такой был бы слишком поспешным, а во-вторых, куда бы мы пришли, если бы тайное всегда и везде выдавали за явное и вещи называли своими именами? Разве можно допустить, что мы руководителя — того же Ленью Маркина — начнем вдруг фамильярно называть по имени, на «ты», его порой неумные мнения в глаза называть глупыми, а начальственную грубость парировать тем же самым? Конечно, нет. Поэтому я — за уважительность в отношениях подчиненных к руководителю, я — за такую, если хотите, разумную условность. В конце концов, одежда — тоже условность, но ведь без нее мы не можем появиться и на пляже! Беда, однако, Лени Маркина — беда, разумеется, неосознанная — заключалась в том, что он условность принимал за чистую монету и с наслаждением жаждущего пил из чаши уважения, которая ему досталась вместе с должностью. Он пил, и хмель честолюбия приятно кружил ему голову...

Чтобы представить себе причину все более и более разжигаемого честолюбия Маркина, необходимо хотя бы ненадолго вообразить себя Леньей Маркиным в руководящем обличье. Вот вы входите в свои лабораторные апартаменты и замечаете разительную перемену, происшедшую среди коллег. Еще вчера, когда вы не были начальником, сотрудник Иванов, здороваясь, едва кивал вам с натянутым видом, а нынче на его губах цветет от-

крытая улыбка удовольствия при встрече с вами, и мысль о том, что вы признаны даже давним недоброжелателем своим, невольно поднимает вас в собственных глазах. Прежде, когда вы заходили в комнату сотрудников, наполненную деловитой суетой или шумом споров, никто на вас не обращал внимания, теперь же, едва вы только появились здесь, все разговоры, шум мгновенно смолкают, как звуки оркестра, снятые дирижерской палочкой; на вас устремляется множество глаз, все ждет, что скажет начальство. И хотя, быть может, вы зашли просто так, переброситься парой дружеских слов, вы тут же подтягиваетесь и, входя в начальственную роль, задаете два или три деловых, но мало что значащих вопроса. И вдруг убеждаетесь, что эти вопросы неожиданно приобретают особую значимость в ваших устах, потому что отвечают вам предупредительно, подробно и с полной серьезностью, и вам уже самому начинает казаться, что задали вы совсем не пустячный вопрос... Порой к вам в кабинет заходят за советом, и, уловив из слов сотрудника, какое мнение следует принять за самое разумное, вы первый высказываете его вслух, и сотрудник удаляется с полным убеждением, что приоритет в этом мнении, так удивительно совпавший с его собственным, принадлежит руководителю лаборатории. Положим, вы, как Ленья Маркин,— специалист в довольно узкой области, но ваши подчиненные, исследователи самого разнообразного профиля, то и дело атакуют вас просьбами совместно обсудить то новую идею, то результат эксперимента, то черновик статьи. Отказать им в этом вы, разумеется, не можете и в один прекрасный день с удовольствием убеждаетесь, с какой непостижимой быстротой множится число заявок на изобретения и статей с вашим соавторством. Еще немного — и у вас не остается никаких сомнений, что вы превращаетесь в крупного ученого-универсала. Представьте далее, что вы, как Ленья Маркин, не желаете обременять свой мозг усердным трудом и приходите в лабораторию, главным образом, чтоб насладиться должностью, но возглавляете вы коллектив отлично слаженный и работающий, благодаря чему лаборатория идет в числе передовых,— разве вы тогда не вправе назвать успехи коллектива собственным успехом? Что касается Лени Маркина, то он считал, что вправе. Да и стоит ли винить его в нескромности? Кому теперь вручали вымпелы

лы и грамоты за первенство лаборатории? Лене Маркину. Кто получал повышенные премии в конце кварталов? Леня Маркин. Как в обиходе и для краткости называли лабораторию агрохимических проблем? Лабораторией Маркина. Кто от имени лаборатории принимал и чествовал зарубежных гостей? Леня Маркин! Так стоит ли удивляться, что не очень-то крепкую голову Лени Маркина начало покруживать? Он искренне уверовал в свою незаурядность, а может быть, и исключительность, и вскормленный на этой пище червь честолюбия его все рос и рос...

На его благодушно полном лице нет-нет да и появлялся отпечаток этакой подпольной величавости, от прежней походки, походки бывалого волейболиста, мало что осталось — широкие плечи распрямились, голова держалась прямо и уверенно, и во всей его неспешной поступи чувствовалась сила и спокойствие преуспевающего человека, так что, если бы вам случилось встретить его шествующим по коридору или двору института, вы бы сразу в нем признали важную персону. Убаюканный успехом, он сидел в своем уютном кабинете и, удобно развалившись в кресле, отдавался в минуты одиночества мечтам... Честолюбие, чем ни больше оно удовлетворяется, тем больше разжигается — в мечтах Леня Маркин уже видел себя замом по науке. «Ведь зам, — рассуждал наш герой, — человек далеко запенсионного возраста. Скоро он уйдет, и для меня имеются все шансы стать его преемником. Разве не моя лаборатория три квартала подряд удерживает первенство?»

Тут следует заметить, что если б к честолюбию Маркина да приложить еще тщеславие, он, вероятно, стал бы замом по науке. Но, к сожалению, Леня Маркин был тщеславен больше в грезах — по-маниловски. Вы помните, что он мечтал о докторской, но мечты свои оставлял до лучших времен. Но вот по милости фортуны явились эти «лучшие времена», и что же? — мечты его оставались мечтами. И когда, придя со службы, он по привычке заваливался на диван с детективом в руках или утыкался благодушным взглядом в телевизор, то на вопрос возмущенной жены, когда же он, в конце концов, возьмется за дело, Леня Маркин с тяжким вздохом отвечал, что если бы она знала, какая свалилась на него прорва ра-

боты и как это его выматывает, она не задавала бы ненужных вопросов. «Вот поставлю дело так, как надо, и тогда примусь за докторскую», — всякий раз обещал он жене. Но Маркин говорил неправду, точнее, он хитрил, потому что мысли о докторской находились у него теперь в теснейшей связи с мечтами о должности зама... «Ведь как только я стану замом, — прикидывал Маркин, — мне могут запросто присвоить докторскую степень за многолетнюю научную деятельность, по совокупности моих многочисленных статей...» И надо сказать, упования его не лишены были некоторых оснований...

Служебное время, так приятно заполненное честолюбивыми мечтами, приемами сотрудников и гостей, заседаниями в различных советах, а в свободные часы — чего там греха скрывать — оживленным обсуждением с ближайшими коллегами спортивных и прочих новостей, — время это для Маркина летело с быстротой приятного сна. Он блаженствовал в роли заведующего, а жизнь лаборатории шла своим чередом. На имя Маркина приходила масса писем, документов, директив, но он, почти не читая, переправлял их своим помощникам или же — за недосугом, как вы понимаете, — запихивал в ящики стола, и без того забитые бумагами, так что после, когда обеспокоенное начальство требовало от него дать срочный ответ на ту или иную корреспонденцию, Маркину приходилось затрачивать поистине героические усилия, чтобы извлечь необходимый документ на свет божий. Проблема, над которой трудился коллектив лаборатории, ставила все новые и новые задачи, решение которых во многом зависело от Маркина, но, не желая утруждать себя, Леня Маркин имел привычку оставлять больные вопросы на потом, будучи твердо уверен, что любое дело, рано или поздно, решается само... А между тем среди множества дел, осаждавших нашего героя, было одно, которое не только не могло решиться само, но требовало самого пристального внимания, участия и вмешательства руководителя — я имею в виду, конечно, работу с людьми, — и вот это-то дело и стало камнем преткновения в карьере Лени Маркина...

Коллектив подобен паруснику, плывущему в открытом море. Как бы удачно ни была подобрана команда,

она есть сложное слагаемое людей самых различных характеров, взглядов, страстей и стремлений, и чтобы гармонично управлять столь разнородным человеческим материалом, капитан корабля должен быть не только превосходным мореходом, но и знатоком человеческих душ, и противном случае в команде в любую минуту может начаться разброд, а корабль рискует не дойти до намеченной цели. В этом отношении лаборатория агрохимиков ничем не отличалась от команды парусника: покуда в ней главенствовал профессор, обладавший завидным даром знания людей, он, найдя однажды равнодействующую в сложном векторе человеческих характеров, долгие годы не выпускал ее из своих старческих рук, и коллектив трудился как единый, слаженный механизм; но Леня Маркин выпустил из рук чудодейственную равнодействующую, а точнее говоря, она и в руках у него не была — он просто не видел ее, — и в лаборатории, некоторое время еще работавшей по четкой системе профессора, вдруг стали проявляться признаки разлада...

Первый камень в тишину и покой лабораторной жизни бросила Птицына, смуглолицая женщина с демонически-черными глазами, орлиным носом и таким могучим телосложением, что, когда она проходила по коридору, пол подрагивал под ее ногами. Ум ее, отнюдь не склонный к научным обобщениям, отличался той положительной хитростью, которую мы часто принимаем за собственно ум. Эта дама, наделенная горячим южным темпераментом и недюжинной энергией, вероятно, могла найти себя на производстве, но Птицына производственной карьере предпочла научную. Не имея ни степени, ни сколько-нибудь значительных ученых трудов, она тем не менее сумела втереться в доверие профессора и довольно скоро утвердилась в должности его заместителя. Впрочем, во времена профессора она занималась преимущественно мелкими административными делами и, надо сказать, с блеском справлялась с этой нелегкой работой. Когда ей случалось распекать опоздавшего сотрудника, то от ее пронзительного взгляда и железного голоса беднягу прохватывала дрожь. Разумеется, в лаборатории ее не любили, но... побанвались, тем более что она имела некоторый вес в верхах, у руководства института и министерства. Может показаться странным, но репута-

цию человека авторитетного Птицына спискала не как специалист, движущий вперед науку агрохимии, а благодаря удивительному уменью своему модулировать голосом, уменью, которому мог бы позавидовать любой артист. Что ни говорите, на нас огромное впечатление производит выражение, с которым произносится та или иная фраза. Можно, например, обозвать человека мерзавцем, и он не обидится, если сказано это ласковым тоном, и наоборот, произнесите ту же фразу экспрессивно — и человек оскорбится. В искусстве владения голосом Птицына достигла высочайших успехов. Самая обыкновенная фраза «Я иду к Потапову (заму по науке)» звучала у нее с такой весомостью, как будто она шла по вызову, по меньшей мере, министра. Убедительность, которой она достигала модуляциями голоса, не раз помогала ей одерживать верные победы там, где другой человек терпел поражения. И был случай, когда Леня Маркин, прошивший в министерстве деньги на приобретение импортного оборудования, вернулся ни с чем, а Птицыной, на другой же день обратившейся с тем же самым вопросом, сопутствовал успех, и не последнюю роль в этом успехе сыграла убедительность интонаций и завораживающий взгляд демонически-черных глаз просительницы. Короче говоря, в лаборатории Птицына являлась личностью, с которой нельзя было не считаться, но Леня Маркин меньше всего обращал на нее внимания и, надо прямо сказать, недолюбливал эту особу...

И вот, почуяв организаторскую слабость Лени Маркина, Птицына стала исподволь прибирать к своим рукам функции руководителя лаборатории. На правах его зама она участвовала в своих хождениях к начальству и многие вопросы решала через голову Маркина, как бы между прочим, вставляя иронические замечания по поводу организаторской беспомощности новоявленного «шефа». И руководители НИИ, склонные всегда приветствовать энергичных работников, со временем привыкли к мысли, что в лаборатории Маркина фактически вершит делами Птицына; и, минуя руководителя, все чаще обращались к заму его. Леню же Маркина сие не тревожило, ибо он, храня свой душевный покой, не любил ходить по вызовам начальства. Но Маркин не предвидел всех последствий тонкой дипломатии Птицыной...

Неведомо для Лени Маркина по лаборатории пополз

вдруг слухок, что Маркин — так себе, величина иррациональная, калиф на час, а вот Птицына — это да... Прошел еще один квартал — и лаборатория оказалась расколотой на две неравные части: большинство в спешном порядке сориентировалось на Птицыну, а меньшинство, симпатизирующее Маркину, подверглось тайной осаде этого большинства. Начались интриги, сплетни, пересуды, и тревожная весть о покушении на доставлявшее ему столько радостей кресло дошла наконец до Маркина...

Всякий раскол чреват опасностью, и когда Леня Маркин окинул рассерженным взглядом лабораторные дела, то убедился, в каком плачевном состоянии они находятся: квартальное первенство было утрачено, план по внедрению научных разработок сорван, и нервозность, этот бич производительной работы, откатывал лабораторию все дальше назад. Безусловно, он прекрасно понимал, кто играет первую скрипку в образовавшемся расколе и кто покушается свалить его с руководящего кресла. Но Маркин, как всякий человек, эмоции которого превалируют над разумом, упустил из виду простейшую истину: с людьми, подобными Птицыной, надобно и бороться их же средствами. Но Леня Маркин мог бороться — если только слово «бороться» применимо к нему — мог бороться лишь с открытым забралом. Но и тут, не решаясь в открытую схватиться с Птицыной, имевшей железную поддержку зама по науке, он обрушил весь свой гнев на сотрудников. Мысль о том, что его, чей научный авторитет подтверждается степенью, оригинальными статьями и изобретениями, предпочли ученой невежде Птицыной, привела его в ярость. И здесь произошла вдруг странная метаморфоза: мягкий, добродушный и уступчивый человек преобразился в грубияна. Пытаясь укрепить расшатанный лабораторный механизм, он вызывал к себе сотрудников и, взыскивая с них за плохую работу, кричал, весь красный от гнева, грозил строптивцам карами и даже стучал по столу своим огромным, мягким кулаком. Возможно, грубость Лени Маркина была отчасти и простибельна, потому что проявлялась она во гневе, а гнев, как известно, есть краткое безумие. Но коллеги почему-то не простили Леню Маркина, и, поскольку он крушил налево и направо, не разбирая, кто друзья, а кто враги, число его доброжелателей пошло

на убыль с катастрофической быстротой. Как дым исчезла уважительность, которой наслаждался Маркин, и дело дошло до того, что один из строптивцев осмелился при всех бросить в лицо ему такую оскорбительную фразу:

— Да какой же вы руководитель, когда вы у себя в кабинете, в рабочее время, проводите инструктажи по теннису!

И Леня Маркин, который действительно увлекся в последнее время теннисом и несколько раз позволил себе с ракеткой в руке продемонстрировать коллегам приемы этой замечательной игры, до того переконфузился, что ничего не мог ответить наглецу.

Другой на месте Маркина принял бы исключительные меры для возрождения былого своего авторитета, он, может быть, пересмотрел бы весь свой кодекс поведения, но Леня Маркин, всецело убежденный в черной неблагодарности коллег, был охвачен чувством такой глубокой обиды, что заняться, мысленно хотя бы, простейшим социологическим анализом, чтобы сделать объективные выводы, совершенно был не в состоянии. Весь уйдя в обиду, он даже позабыл, что должен защищать своих немногих из оставшихся доброжелателей, и, когда к нему обращались с жалобой на интриги приспешников Птицыной, он только обещал вмешаться, но сам все оставлял как есть, искренне надеясь, что конфликт уладится и без его вмешательства.

У Маркина работала жена его ближайшего приятеля, одного из тех, с кем Леня Маркин проводил вечера за игрой в преферанс и шахматный блиц, и, когда эту милую, работающую женщину довели в лаборатории до слез и истерики, встревоженный муж, трудившийся в соседней лаборатории, явился к Маркину, и между ними произошел такой разговор.

— Слушай, Леня,— сказал ему друг,— я не хочу вмешиваться в дела твоей лаборатории, но неужели ты не можешь оградить Екатерину от преследований этой гориллы, Птицыной? Ты посмотри, на кого Катюха похожа: кожа да кости, один нос торчит.

— Ой, Костя,— вздохнул на это Леня Маркин,— если я начну заниматься разбором склок, мне работать будет некогда.

— Но о какой же работе может идти речь, если у тебя склоки завелись? Первым делом нужно ликвидировать склоки.

— Ты думаешь, это просто?

— Может быть, и не просто. Но взяться за это дело так же необходимо, как очистить зерно от плевел.

— Вот, погоди, пройду по конкурсу, я тогда наведу порядок.

— А я бы на твоём месте не стал ждать конкурса. Мне кажется, в твоих же интересах взяться за это дело сейчас и к конкурсу создать нормальный климат в лаборатории. Что ты, не в состоянии дать по рогам этой Птицной?

— А тебе известно, что её поддерживает зам? Её просто так, голыми руками, не возьмешь. Вот пройду по конкурсу, тогда я ей устрою...

— Ну, смотри, старик. Тебе виднее.

И приятель ушел, затаив в душе обиду на Маркина...

Наконец объявили долгожданный конкурс. Спешно собрав необходимые документы, Леня Маркин понес их ученому секретарю, но тот сказал ему:

— Леонид Сергеевич... поймите меня правильно... Вы, конечно, вправе участвовать в конкурсе, но я бы вам посоветовал забрать документы.

— Почему? — опешил Леня Маркин.

— Видите ли, одно дело — не участвовать в конкурсе и совсем другое — участвовать и быть прокаченным на вороных...

— А что, разве ко мне есть претензии? — удивился Маркин.

— К сожалению, да... Руководство института считает, что вы не умеете работать с людьми.

— Гм, выходит, Птицына умеет работать с людьми, — оскорбленно выговорил Маркин.

— Упаси бог! — возразил секретарь. — Мы знаем её истинную цену... Нет, на должность заведующего вашей лабораторией намечена кандидатура из другого института. По всей вероятности, она-то и пройдет по конкурсу.

И Леня Маркин, взяв документы, отправился восвояси.

Когда были вывешены списки участников конкурса,

фамилии Маркина там не оказалось, и кое-кто из приятелей Лени спрашивал его с удивлением:

— Старик, ты почему не участвуешь в конкурсе?

И Леня Маркин, делая хорошую мину при плохой игре, отвечал с добродушной усмешкой:

— А зачем мне этот хомут, лаборатория? Ту же зарплату я буду получать как завсектором, зато хлопот меньше.

В глубине души он, разумеется, был оскорблен такой несправедливостью — сменять его, Леню Маркина, на какого-то кота в мешке, варяга; и, весь уйдя в себя, он терпеливо ждал знакомства со своим преемником...

Но вот явился новый зав, обыкновенный кандидат, по виду не очень примечательный человек, такого же примерно возраста, как Маркин. Несмотря на свою непримечательность, он мгновенно оценил обстановку, отдал бразды административного правления Птицыной, а сам, как говорится, с головой ушел в науку, систематически и твердо прокладывая курс для докторской своей диссертации... А Птицына могла торжествовать: два — три самых яростных недруга ее, и в том числе Катюша, уволились, и в коллективе наступила тишь да гладь да божья благодать. Леня Маркин попытался было возглавить в своем секторе оппозицию новому лабораторному начальству, но, не имея ни определенной системы, ни сколь-нибудь твердой поддержки сотрудников, махнул на все рукой и, отказавшись от своих честолюбивых надежд, решил вернуться к прежней жизни без забот и треволнений.

Но вернуться к прежней, столь приятной жизни, вдруг помешала Маркину жена. По-своему истолковав фиаско мужа, она, едва он только приходил домой, принималась осыпать его градом упреков, насмешек и даже оскорблений.

— Эх ты, папочка! — говорила она с ласковой укоризной, и этот тон, а главное, слова казались Лене Маркину возмутительными. — Ну, на что ты способен, скажи?.. Руководитель из тебя не получился. Докторскую ты не делаешь. Все вечера ты проводишь за картами, шахматами или смотришь этот дурацкий футбол!.. Ты хоть бы взялся монографию писать! Бесхарактерный ты мужчина. Тюфяк ты, папочка! Илюша ты Обломов,

вот ты кто! Неужели так и доживешь свой век Обломовым?..

И терпеливый Леня Маркин наконец взорвался, в доме разразился скандал, первый неприличный скандал в жизни Маркина...

Ну, скажите, что остается человеку, которого в самых лучших его устремлениях не поняли ни сослуживцы, ни родная жена? Конечно же куда-нибудь уехать, встряхнуться и забыть все неприятности. И Леня Маркин, спешно выхлопотав отпуск, сел в самолет и полетел на юг, к морю, «где солнце сияло и расцветала весна»...

*Маркин
забавляется*

3 Леня Маркин был далек от мира искусства, но кто из нас, обыкновенных смертных, не мечтает хотя бы на краткое время окунуться в романтический мир богемы? И Маркин тоже не лишен был этой слабости. Вот почему, приземлившись в Симферополе, он приказал таксисту везти себя в Коктебель, в это лучезарное обиталище поэтов и художников. Как вы могли уже убедиться, организаторскими способностями Маркин не очень-то блистал, но что касается умения устроиться — в этом с ним могли сравниться лишь немногие. Приехав в Коктебель, он моментально разыскал одну из старых служительниц Дома творчества Литфонда и, поселившись к ней на квартиру, с удовольствием убедился, что живет на территории самой заповедной обители.

Наутро, чувствуя себя уже причастным к писательскому миру, Леня Маркин облачился в новенькие шорты оранжевого цвета, в белоснежную тенниску и, бросив на плечо махровое полотенце, отправился на заповедный пляж. И когда перед ним предстало ожидаемое препятствие в виде старой и сухой как вобла сторожили с нарукавной повязкой, то на ее вопрос: «Пропуск ваш, молодой человек» — наш герой с удивлением ответил:

— Как, разве вы меня не знаете? Я — Достоевский из пятого корпуса.

И, обаятельно улыбнувшись старухе, с достоинством прошествовал к морю...

Море, белопесчаный пляж, кипарисы, южное богат-

ство базара — кому это теперь внове, а тем более — Маркину, каждый год отдыхавшему на Черноморском побережье? Но одно дело, когда вы наслаждаетесь южной экзотикой вместе с семьей, на самой заурядной здравнице всеобщего предназначения, и совсем иное — когда, подобно Маркину, вы приезжаете на юг один, свободным как молодой холостяк и отдыхаете вы в заповеднике, где вам на каждом шагу может встретиться знаменитость. Чувство, которое вы испытываете при этом, непередаваемо, и, если вы попытаетесь выразить его одним словом — «блаженство», оно покажется вам банальным. Тем не менее для краткости скажу, что именно блаженством был охвачен Ленья Маркин, когда, растянувшись на теплом, мелком, как бисер, песке коктебельского пляжа, он загорал, убаюканный мягкими всплесками моря и нежным дуновением свежего, напоенного морским ароматом воздуха. Стоит ли говорить, что тревожнения недавних дней успели улетучиться из его безмятежной души, и лишь единственная страсть могла его волновать теперь — азарт ожидания знакомств, интересной компании и развлечений. Те, с кем он желал сойтись — писатели, поэты и поэтессы, — ходили и лежали рядом и по виду ничем не отличались от обыкновенных смертных, но Ленья Маркин знал, сколь обманчиво такое впечатление, и в ожидании счастливого случая с любопытством посматривал на этих людей, сумевших оседлать Пегаса. Некоторые из них казались ему удивительно знакомыми, хотя он готов был побиться об заклад, что никого из них не знает, ибо познания Лени Маркина в литературе, как ни прискорбно нам в этом признаться, были поверхностными, к тому же современных авторов он не читал и, не видевши их портретов, искренне сожалел теперь об этом. Впрочем, для одинокого человека, да еще с таким общительным характером, как у Лени Маркина, нет ничего проще пляжного знакомства, и буквально на другой же день приезда исполнилась его мечта — он познакомился с одной из популярных поэтесс, настолько популярной, что творчество ее, хотя и понаслышке, известно было даже Маркину. Представляясь поэтессе, Лени Маркин скромно назвался научным работником и, дабы исключить расспросы о своей прозаической профессии, добавил, что работает в почтовом ящике, чем вызвал неподдельное уважение в глазах собеседницы. Надо

сказать, что ничего поэтического в этой поэтессе Леня не нашел. Лицо у нее было самое заурядное, фигура — и того заурядней, и только глаза были хороши, большие, ясные — в их глубине всегда таилась печаль. Не так давно она разошлась с мужем, известным писателем, и жила теперь одна, воспитывая сына-подростка. Естественно, больше всего ее волновала проблема воспитания подростков, и, увидев в Лене Маркине умного человека, она поделилась с ним своими мыслями на этот счет. Но Маркин испытывал полнейшее равнодушие ко всякого рода моральным проблемам и, лишь для вида поддерживая разговор, чуть не зевал от скуки. Однако скучать ему пришлось недолго: у Аллы, как мы условно назовем популярную поэтессу, оказалась целая куча веселых молодых друзей, прозаиков, художников, эссеистов и проч., — и очень скоро Леню Маркина приняли в этом кругу как своего: кому не понравится человек такой внушительной внешности, с такими мягкими манерами, человек, с добродушного лица которого почти никогда не сходит улыбка, да к тому же еще отличный игрок в преферанс, — игрок, разумеется, не по страсти, а удовольствия ради, гитарист и исполнитель популярных песенок?..

Маркин чувствовал себя великолепно в новой компании, и все-таки он был немножечко разочарован... Дело в том, что Леня жаждал увести из Коктебеля запас пикантных литературных новостей, но литераторы предпочитали говорить о чем угодно, но только не о делах литературы; он надеялся услышать и, запомнив, привезти домой несколько модных идей и мудрых изречений, но, вместо мудрости, литературная братия расточала шутки, смех и анекдоты; он мечтал оказаться участником романтических ночных пирушек где-нибудь на палубе судна, в открытом море, при свете луны и под звуки джаза, но литераторы самым скучным образом довольствовались «сухоньким» где-нибудь в кафе, а то и прямо на пляже, и о ночных пирушках никто даже речи не вел; он мечтал, наконец, увидеть здесь, в среде богемы, красивых юных дев, но, к величайшему удивлению своему, не встретил ни одной. Лишь выяснив у Аллы, что заработок литератора, даже наиболее известного из них, во многом зависит от случая и в целом значительно ниже его, кандидатской, зарплаты, Маркин понял свое заблуждение и с тех пор преисполнился чувством превосходст-

ва от сознания, что он — ученый, а не служитель муз. «Да, красивая жизнь у каждого в душе», — сказал себе Маркин и пошел на городскую танцплощадку, пошел не только танцевать и веселиться, но и в тайной надежде найти то «мимолетное видение», с которым он встречался на банкетах и которым он желал теперь владеть. И он нашел, ибо «ищущий да обрящет», как сказано в писании...

Представьте себе молодую, изящную женщину, провинциалку, впервые попавшую на южный курорт. Дома у нее остался муж, которого она не любит, и любимый сынишка, мешающий порвать ненавистные узы супружества. Представьте далее, что эта женщина по натуре своей жизнерадостна, весела, любит эстрадную музыку и замечательно хорошо поет и танцует. И вот, очарованная южной экзотикой, словно зовущей к счастью и любви, она встречает человека, который любит то же самое, что любит она, человека, внешний облик которого как нельзя более выражает ее идеал мужчины: он высок, широкоплеч и, несмотря на некоторую полноту, довольно статен; и у него такая обаятельная, покоряющая улыбка, — стоит ли удивляться, что эта женщина влюбилась в родственную душу, а родственной душой был, разумеется же, Леня Маркин... Да разве наш герой не достоин любви? Хотел бы я посмотреть на женщину, которая, однажды оказавшись в щедрых объятиях Маркина, устояла бы перед ним...

Леня Маркин тоже страстно увлечен был молодой провинциалкой. Его талант гитариста, любимые эстрадные песенки, которые она и он распевали в компании своих мимолетных приятелей, ежедневные танцы, интимные разговоры тет-а-тет на лавочке в ночной благоухающей тиши, а главное, психологический настрой влюбленных, — сделали необходимое дело, и, в ускоренном темпе пройдя все фазы любви, они зажили счастливой жизнью молодоженов.

— Моя жена Таня, — представляя на пляже свою подругу литературной братии, блаженно улыбался Леня.

И литераторы, проницательно поглядывая на розовеющую от всеобщего внимания Таню, со вздохом отвечали ему:

— От души вам завидуем, Леонид Сергейч...

И только поэтесса Алла, дотоле дарившая его своею откровенностью, утратила вдруг всякий интерес к нему...

Насмерть рассердившись на жену за бесконечные попреки, Леня Маркин, отправляясь к морю, снял обручальное кольцо с правой руки и надел его на левое, но, к чести своей, перед Таней он не стал разыгрывать разведенного мужа и в самом начале знакомства признался ей в истинном своем семейном положении. Но Таня, как все влюбленные, смотрела на отношения с любимым человеком сквозь розовые очки, и ей, охваченной радостью настоящего большого чувства, будущее рисовалось как непрерывное движение к счастью: Леня, приехав домой, во всем признаётся жене, и они разводятся; получив согласие на развод, он дает телеграмму Тане, и Таня, поступив точно так же, забирает сынишку и едет в Москву, чтобы навсегда соединиться с любимым... В том, что Леня испытывает такое же глубокое, всепоглощающее чувство, какое испытывает она сама, Таня даже сомневаться не могла, и мысль о том, что он, ее родной, любимый Леня, сделает все возможное и невозможное, чтобы никогда не расставаться с ней, казалось ей такой же истинной, как то, что снег белый, а трава зеленая,— известно ведь, что всем влюбленным свойственно желаемое выдавать за истинное. В общем, если чувства Тани выразить одним, двумя словами, то это были «восторг и упоение»; что же касается чувства Маркина, то его вернее было бы назвать удивлением с большой буквы. Наслаждение, которое он получал от молодого, страстного тела, настолько ошеломило его своей неожиданностью, что он, радостно смеясь в душе, уподобил себя тому простаку, много лет уже женатому, который лишь случайно узнал об удовольствии раздеть вначале жену, прежде чем укладываться с нею спать... И когда он окинул мысленным взглядом прошлые годы своей супружеской жизни, она показалась ему невыносимо банальной и пресной.

Как вы убедились, чувства Лени Маркина и Тани были несколько различны, но взаимное сближение обоим доставляло радость, а в радости дни похожи на мгновенья: влюбленные и оглянуться не успели, как пришла пора расставания... Перед разлукой грустное, тревожное чувство вдруг охватило Таню, ибо ей хотелось вновь ус-

лышать от любимого слова признаний, под влиянием страсти первых встреч срывавшихся с уст нашего героя, но Леня Маркин, расточая комплименты ее красе, о любви своей не говорил ни слова. И тогда, забыв о женской гордости, встревоженная Таня спросила у него:

— Милый, скажи, ты... ты любишь меня?

— Конечно,— улыбаясь, ответил Леня Маркин, но тон, которым он ответил, не успокоил Таню.

— Ты любишь меня так же, как я тебя?

И Маркин, не желая лгать и притворяться, сказал с добродушной усмешкой:

— Ой, Таня... К чему эти детские вопросы?..

— Детские вопросы? — переспросила Таня, со слезами на глазах вглядываясь в Леню Маркина.— Ты называешь это детским вопросом?

— Ну, Танечка, успокойся. Ведь мы же взрослые люди, и мы должны трезво смотреть на вещи... Мы были вместе, нам было вместе хорошо, приятно... Но стоит мне и тебе вернуться домой, и, уверяю тебя, наш роман начнет забываться, как забывается приятный сон, и это естественно: человек живет настоящим...

— Как можешь ты так говорить? — глотая слезы и комкая в руках платок, спрашивала Таня.— Разве ты не видишь, не чувствуешь, как я люблю тебя?.. Ты — моя первая и навсегда единственная любовь, понимаешь ты это?.. Мысль о том, что я... я могу лишиться тебя, приводит меня в ужас, потому что ты — смысл моей жизни. Я... я не могу без тебя.— И она зарыдала.

И, тронутый такой бескорыстной преданностью Тани, польщенный Леня Маркин начал утешать ее:

— Ну, успокойся, успокойся. Я ведь ничего обидного не сказал тебе... Конечно, мы будем вместе. Но сперва мне нужно утрясти свои семейные дела. Развод — не такое простое дело, тем более что у меня — взрослый сын. Но я постараюсь... Рано или поздно я добьюсь развода. А пока нам придется встречаться украдкой. Ты ведь сможешь наезжать, хотя бы изредка, в Москву?.. Ну, и чудесно. А я возьму командировку и приеду к тебе... Мы обязательно будем вместе. Ну, иди ко мне, моя хорошая...

И, заключенная в жизнерадостные объятия Лени Мар-

кина, доверчивая женщина нашла блаженное успокоение на его широкой груди...

Леня, у которого кончался отпуск, уезжал на два дня раньше, и, прощаясь с ним у турникета, Таня, не замечая скопления чужих людей, бросилась к нему на шею и осыпала дорогое для нее лицо жадными, порывистыми поцелуями. А когда он пошел и, оглянувшись из толпы, с улыбкой помахал ей рукой, она, одновременно плача и смеясь, крикнула на весь аэропорт: «Милый, я люблю тебя!» — чем доставила невыразимое удовольствие Маркину, гордому от сознания, что окружающие видели и слышали, как он любим красивой, элегантной женщиной.

Весь аэропуть до Москвы он пребывал в отличнейшем настроении, и порой, когда он мысленно возвращался к упоминательным часам интимных встреч с красивой Таней, счастливая улыбка мелькала на его больших, добродушных губах.

...Но вот он возвратился в НИИ. Бодрый, цветущий здоровьем, с красивым золотистым загаром на полном лице и веснушчатых руках, он вошел в лабораторию и словно внес с собою запах моря, солнца и веселое приношение курорта. И коллеги, даже те из них, кто в недавнее время имел обиду на него, встретили Маркина с таким радушием, с каким встречают родного человека после долгой разлуки, — да и то сказать: можно ли долго обижаться на такого простодушного парня?..

Бросив три-четыре беглых вопроса о делах и убедившись, что в его отсутствие не случилось никаких ЧП, Леня Маркин ударился в воспоминания о днях, проведенных в Коктебеле, с упоением доказывая преимущества и прелесть поездки на юг одному, без жены... Чуть позднее, оставшись в окружении мужской компании, Леня Маркин прозрачно намекнул, что интересы, пищу для которых он нашел на коктебельском побережье, носили не только эстетический и платонический характер, и, многозначительно улыбнувшись, стал вдохновенно пропагандировать взгляд знакомого философа-эссеиста о том, сколь необходимо и полезно научному сотруднику для стимулирования творческой его активности иметь молодую любовницу... И уж вовсе узкому кругу — близким друзьям — поведал наш герой о романе своем, при-

свокупив при этом столь фривольные подробности, что услышь его в эту минуту Таня — от любви ее не осталось бы и следа. Но ведь Маркин рассказывал об этом самым-самым близким друзьям, а Тани рядом не было...

Независимость, которую вкушал Леня Маркин, отдыхая в Коктебеле, настолько пришлась ему по душе, что, возвращаясь домой и не чувствуя к жене ни грама прежней любви, он решил в своих отношениях с ней сохранить статус-кво. В день приезда, когда к нему на шею радостно бросился сын, скучавший без папы, Леня Маркин, приласкав его и одарив коллекцией разноцветных камушков, мог бы с тем же светлым чувством подойти к жене, вышедшей из кухни, — и примирение бы состоялось, — но он лишь сказал: «Здравствуй» — и прошел в свою комнату, холодно храня молчание. Справедливости ради следует сказать, что и Нина, из гордости, ей присущей, не очень-то стремилась к примирению. Защитив диссертацию, она была теперь доцентом и, в пику мужу, хотела доказать, что она преотлично может прожить и без него, — вот почему пристань супружеской жизни Маркиных стала трещать по всем швам, что было как нельзя более кстати для Маркина, ибо он имел полнейшее моральное право располагать собой по собственному усмотрению. Он участил свои поездки на теннисный корт, что дало ему возможность расширить круг своих знакомств среди таких же, как и он, веселых, независимых людей; все свободное время он проводил теперь с новыми друзьями: на корте, танцах, эстрадных вечерах, изредка — в ресторанах, но чаще — на чьей-нибудь квартире или холостяцкой даче, — и как же это было здорово, вернувшись за полночь домой, а иногда заночевав в веселой компании, ни перед кем не держать ответа.

Одним словом, Леня Маркин чувствовал себя вполне холостяком, а в холостяцкой жизни, что бы там ни говорили, есть своя прелесть. Однако имеет она и свои недостатки: так Маркин, которого жена решительно сняла с довольствия, вынужден был сам готовить себе завтраки и ужины, стирать исподнее белье и гладить брюки, но Леня, прекрасно зная закон отрицания отрицания, понимал, что за всякое удовольствие надобно расплачи-

ваться неудовольствием, и стоически сносил эти мелкие неудобства

Естественно, что, раз вкусивши прелесть от общения с молодой, красивой девой, Леня Маркин устремил свою энергию на поиски Таниной преемницы, и она довольно скоро была найдена. Новая подруга Маркина, не уступая Тане в привлекательности, имела перед ней одно неоспоримое преимущество: она была разведенка и как человек свободных взглядов не докучала Лене пошлыми мольбами о выдаче ей векселей на совместную жизнь, скрепленную узами Гименея.

Короче говоря, блаженство райской жизни вкушал наш герой и, понимая, как много он обязан Тане, впервые отворившей для него врата в неведомый чувственный рай, благодарил ее в душе.

А далекая Таня тем временем слала письмо за письмом любимому человеку. В первом послании своем, исполненном надежд и связанных с именем Лени радостных воспоминаний, она писала, что произвела настоящий фурор на службе: все твердили в один голос, что она помолодела после юга, похорошела и вообще — вся расцвела. «И этим, — признавалась Таня, — я обязана тебе, мой милый...» Попутно она сообщала, с каким огромным трудом, проявляя поистине актерские таланты, удастся ей сокрыть от мужа радостные чувства свои и, изображая из себя больную, хранить любимому Лене верность...

Во втором письме, не дождавшись ответа на первое, встревоженная Таня засыпала его вопросами: не болен ли он, ее Леня? не случилось ли с ним что-нибудь? — и выражала опасение, что он не получил ее письмо. Она писала, что страдает, беспокоясь за него, что потеряла аппетит и начала дурнеть... И умоляла, чтобы он ответил ей хотя бы строчкой...

По доброте душевной Леня Маркин чирканул ей несколько успокоительных слов и получил в ответ послание на двадцати страницах, каждая строчка которых пела восторгом и счастьем любви... Но у Лени, как у государственного мужа, каждый день расписан был по минутам, и на письма у него просто не хватало времени, поэтому он не ответил Тане. А Таня, веря и не веря в тревожные предчувствия, все изливала перед ним свои эмо-

ции, от надежд переходя к отчаянию и от лирических признаний — к ревнивым подозрениям...

Бесспорно, Маркину приятно было получать любовные письма и еще того приятней — давать читать их близким друзьям, но в конце концов бесконечные повторы, содержащиеся в Таниных посланиях, наскучили ему — и он ответил вежливым коротким письмом, в котором просил ее философски отнестись к тому, что было между ними в Коктебеле, и не растравливать себя понапрасну ничемными сентиментальными переживаниями, потому что сентименты, писал наш герой, удел зеленых юнцов и девиц, а не взрослых, серьезных людей, какими являемся ты и я... Тогда он получил последнее письмо от Тани. Она писала, что, верно, Леня пошутил, и пошутил неудачно, потому что ему ли не знать, как она любит его, и назвать ее чувства сентиментами не только нехорошо, но и жестоко... Но она-то знает, уверяла Таня, что он, ее любимый Леня, просто неудачно пошутил. А может быть, он хотел испытать ее? Так пусть не сомневается: без него ей белый свет не мил, и случись, что он разлюбит ее — она не снесет такого горя. И Таня молила его освободить ее от страданий и написать хотя бы два слова: «Люблю тебя...» Но Леня Маркин, добродушно посмеявшись по поводу банальностей Тапиной писанины, не ответил и на это письмо. И Таня замолчала...

В общем, жизнь нашего героя текла в полнейшей безмятежности. Он был любим, теперь уже третьей молодой, красивой девой, и он был счастлив разнообразием досуга своего, и хотя гипотеза философа-эссеиста не подтвердилась и Леня на себе не ощутил прилива творческой активности, но тем не менее в НИИ он был не на плохом счету: благодаря умению своему распределять работу среди подчиненных, он в срок и с честью выполнял научные планы. И лишь одно обстоятельство порой нарушало его безмятежность — неопределенность семейных отношений. Дело в том, что углублявшийся разрыв между отцом и матерью пагубно сказался на характере сына: он плохо стал учиться, дерзил учителям и, связавшись с компанией уличных гитаристов, потерял вдруг всякий интерес к своим родителям. Маркин, естественно, слегка переживал за сына... но все-таки супруги мирно согласились на развод, и Леня Маркин только ждал мо-

мента — поступления сына в институт, чтобы, поставив точки над «і», зажить счастливой жизнью законного холостяка...

Сейчас ему сорок пятый, но он жизнерадостен, цветущ и молод, как и несколько лет назад, и, случись вам обратиться к нему на улице, вы назовете его молодым человеком.

Содержание

Шаги в лето	3
Конкурс	101
Человек из НИИ	169

**Николай Алексеевич
Фомичев**

**КОНКУРС
Повести**

**Рецензент А. В. Скалон
Редактор В. Ягунин
Художник Е. Агеева
Художественный редактор Г. Саленков
Технические редакторы В. Фяд, В. Юрченко
Корректоры Т. Стельмах, Т. Люборец**

ИБ № 2012

Сдано в набор 29.10.81. Подписано в печать 09.02.82. А03539. Формат 84×106/з. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 10,92. Усл. краск.-отт. 10,92. Уч.-изд. л. 11,00. Тираж 75 000 экз. Заказ 465. Цена 95 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли в Союзе писателей РСФСР

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:

*121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»*